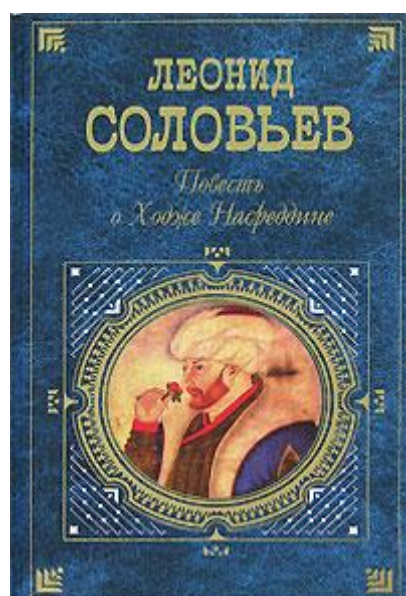




Леонид Васильевич Соловьев
Очарованный принц
Серия «Повесть о Ходже Насреддине», книга 2

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122916
Повесть о Ходже Насреддине: Эксмо; Москва; 2008
ISBN 978-5-699-23420-2*

Аннотация

«Очарованный принц» – это продолжение полюбившейся читателям всех возрастов книги о мудрено и остроуслове Ходже Насреддине. Она рассказывает о приключениях героя в горах Ферганы и в Коканде. Насреддин по-прежнему верен себе: он борется со злом, помогает слабым и беззащитным, восстанавливает справедливость. Из беззаботного весельчака наш герой превратился в умудренного житейским опытом философа, который умеет высмеять глупость и всегда придумает дерзкий и хитроумный план, чтобы наказать жадность и порок.

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	10
Глава третья	16
Глава четвертая	20
Глава пятая	23
Глава шестая	26
Глава седьмая	31
Глава восьмая	35
Глава девятая	42
Глава десятая	46
Глава одиннадцатая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Леонид Васильевич Соловьев

Очарованный принц

Много странствовал я в разных краях земли; я побывал в гостях у многих народов и срывал по колоску с каждой нивы, ибо лучше ходить босиком, чем в тесной обуви, лучше терпеть все невзгоды пути, чем сидеть дома... И еще скажу: на каждую новую весну нужно выбирать и новую любовь: друг, прошлогодний календарь не годится сегодня!..

Саади

Ученые мудрецы минувших веков оставили в наследство миру множество книг, дабы факелом своих знаний освещать нам, живущим сейчас, извилистые и опасные пути нашей жизни. В этих книгах можно прочесть обо всем: о войнах и землетрясениях, о чудесах и пророчествах; каждая страница украшена именами шейхов, калифов, непобедимых воинов и прочих прославленных мужей земли; об одном только человеке ничего, ни единого слова, не сказано в этих книгах – о Ходже Насреддине, хотя и был он знаменит на весь мир. Подобное упущение со стороны мудрецов не удивляет нас. В те далекие годы нередко случалось, что иной мудрец сеял в своей книге семена богатства и почета, но пожинал – увы! – одни только неисчислимы бедствия. По этой причине мудрецы были крайне осторожны в словах и мыслях, что видно из примера благочестивейшего Мухаммеда Расуля-ибн-Мансура: переселившись в Дамаск, он приступил к сочинению книги «Сокровище добродетельных» и уже дошел до жизнеописания многогрешного визиря Абу-Исхака, когда вдруг узнал, что дамаский градоправитель – прямой потомок этого визиря по материнской линии. «Да будет благословен аллах, вовремя ниспославший мне эту весть!» – воскликнул мудрец, тут же отсчитал десять чистых страниц и на каждой написал только: «Во избежание», – после чего сразу перешел к истории другого визиря, могущественные потомки которого проживали далеко от Дамаска. Благодаря такой дальновидности указанный мудрец прожил в Дамаске без потрясений еще много лет и даже сумел умереть своей смертью, не будучи вынужденным вступить на загробный мост, неся перед собою в руке собственную голову наподобие фанаря.

Книги молчат о Ходже Насреддине. Тяжелый камень запрета лежал в те годы на его имени. Так повелели могущественные властелины – калифы, султаны и шахи, в надежде отомстить ему хотя бы в последующих веках, лишив его посмертной славы. Но спросим: удалось ли им достичь своей цели? Старая история, одна и та же во все времена, – сказано об этом у Сельмана Саведжи: «Достойный прославится, хотя бы все вихри объединились против него!»

Ибо есть одна книга, над которой не властны калифы: память народа. В этой великой книге и обрел Ходжа Насреддин свое бессмертие.

Есть в городе Ходженте, на берегу Сыр-Дарьи, обширный пустырь, где никто не селится и не разводит садов, потому что река в этом месте поворачивает, бьет под берег и ежегодно смывает его на три-четыре локтя. Река смыла пустырь уже до половины и вплотную подошла к могучему карагачу, одиноко растущему здесь, обнажив с одной стороны его узловатые грубые корни, сбегаящие по глинистому обрыву к воде. Открытый солнцу, в изобилии снабженный влагой, карагач раскинулся широко и зеленеет густо, затмевая пышностью соседние деревья, что жалкой кучкой сбились в отдалении, у пыльной большой дороги. Томимые жаждой, палимые зноем, они слабо шелестят хилой, изможденной листвой и, подобно многим ничтожным людям, злобно завидуют счастливому гордецу. «Ничего, – думают они, – река еще подмоет берег, на котором он держится, и, потеряв опору, он рухнет и уплывет по течению, чтобы сгнить бесславно где-нибудь на песчаной отмели. А мы будем стоять здесь по-прежнему, воссылая благодарность судьбе, взрастившей нас вдали от

реки; пусть некрасива наша редкая листва, бессильная укрыть путника прохладной тенью, пусть осыпает нас горячая пыль с дороги, а наши корни теснит сухая и жесткая почва, – мы довольны и не хотим иной участи, ибо стремления порождают опасности, чему примером – гордый карагач!»

Они ошибаются: карагач не рухнет в реку и не уплывет по течению. Вода смывает лишь все мелкое, хилое вокруг него, но не преодолеет его могучего корня, ушедшего в землю глубоко, под самое дно. Карагач удержится на берегу, и та же река, что подмывала его, нанесет плодородного ила к нему, и он, укрепив собою берег, будет зеленеть еще долго, все шире раскидывая свою могучую литую крону, в то время как те, стоявшие в отдалении, уже отдадут свою жалкую жизнь огню в очагах... И даже когда облезет вся его кора, высохнет древесина и прекратится движение соков в стволе, его не срубят и не распилят на дрова, а обнесут красивой оградой и будут показывать заехавшему в Ходжент путнику, говоря: «Вот карагач, посаженный и возвращенный самим Ходжей Насреддином!»

И еще узнает путник, что населенная лепешечниками ходжентская слобода Раззок (что значит «Податель насущного хлеба») имеет в народе второе название: слобода Ходжи Насреддина, потому что именно здесь, по преданию, стоял в минувшие времена его дом. Ходжентцы расскажут путнику, что в горах, по дороге в Ашт, есть озеро Ходжи Насреддина; на берегу его расположено маленькое селение Чорак; в этом селении есть чайхана Ходжи Насреддина, а в чайхане под крышей живут воробьи Ходжи Насреддина – потомки одного знаменитого воробья, о котором речь впереди. Там же есть пещера со странным названием: «Обиталище благочестивого вора», есть арык Ходжи Насреддина, мостик Ходжи Насреддина, – словом, все дышит здесь его памятью, как будто он уехал отсюда на своем ишаке только вчера.

Облачившись в халат усердия и вооружившись посохом терпения, мы посетили все эти места. Мы ночевали под многими кровлями, грелись у многих костров, беседовали о Ходже Насреддине со многими людьми; судьба благоприятствовала нам в поисках, – и вот сегодня мы открываем еще одну страницу его жизни и говорим вслед за мудрейшим Ибн-Туфейлем: «Да послужит эта история поучением тому, кто имеет сердце, или кто внимает и видит...»

Часть первая

После этого купец с женой отправились в дальний путь. Они ехали долго, пересекая горы и степи, моря и пустыни, в полдневный зной и на заре; аллах сохранил их в пути, и на тринадцатый день они достигли города Басры...
«Тысяча и одна ночь»

Глава первая

Покинув Бухару, Ходжа Насреддин со своей женой Гюльджан направился сначала в Стамбул, а оттуда к арабам. Он возмущал спокойствие поочередно в Багдаде, Медине, Бейруте и Басре, привел в небывалое смятение Дамаск, потом завернул мимоходом в Каир, где на короткое время занял должность главного каирского судьи. Кого и как он судил – мы не знаем; достоверно известно только одно – что потом Ходжу Насреддина искали и ловили по всему Египту целых два года. Он же был в это время далеко – в иных землях, на иных дорогах.

Вечный бродяга, он нигде не останавливался надолго; с рассветом заседлывал он ишаков – белого для Гюльджан, серого для себя – и снова пускался в путь, все вперед, и все дальше, каждый день меняя ночлег. Утром его леденил мороз и заносила метель на горном снеговом перевале, в полдень недвижный зной каменистых ущелий сушил его губы, вечером он вдыхал благоуханную свежесть долины и пил из арыка мутную воду, рождение которой от льда и снегов видел сегодня там, наверху.

Будь его воля, он так никогда и не прекратил бы скитаний и все ездил бы, ездил, опоясывая землю маленькими дробными следами копыт своего ишака. Но человек, имеющий жену, должен иметь и потомство; Ходжа Насреддин не уклонялся от этого правила: на четвертый год супружеской жизни Гюльджан подарила ему четвертого сына. Радовался Ходжа Насреддин, радовалась Гюльджан, шумно ликовали, хлопая в ладоши, братья новорожденного, торжественно ревел белый ишак, оповещая всех двуногих в перьях и без перьев, всех четвероногих, всех плавающих и ползающих о приходе в мир молодого хозяина. Только серый ишак не радовался, хмуро передергивал ушами и смотрел в землю, не замечая весенней красоты, щедро разлитой вокруг.

Через месяц тронулись дальше – Гюльджан на своем белом ишаке, а Ходжа Насреддин на сером. Перед Ходжой Насреддином, на самой холке ишака сидел старший сын, второй сидел позади, на крестце ишака, и забавлялся тем, что, поймав и загнув к себе ишакий хвост, выбирал из кисточки застрявшие в ней репы; третий сын ехал в правой переметной суме, а четвертого уложили в левую.

– Гюльджан, мой ишак что-то скучает в последнее время, – сказал Ходжа Насреддин. – Уж не заболел ли он, спаси нас аллах и помилуй от подобного бедствия!

– Купи на следующем базаре хорошую плетку, и он сразу повеселеет, – посоветовала Гюльджан.

Ишак, внимая этим речам, только вздыхал, ропща в душе на своего хозяина.

Минул год. Снова пришла весна, южный ветер открыл цветы абрикосов, сады залились бело-розовой пеной цветения, наполнились писком, свистом, щебетом и чириканьем, арыки выступили из берегов и по ночам гудели гулко и полно, как трубы. Однажды на привале серый ишак, пощипывая свежую весеннюю траву, взглянул на Гюльджан и заметил, что она

как будто опять пополнила. Убедившись в справедливости своих подозрений, он заревел, оборвал веревку и кинулся в сторону, ломая кусты.

Только тогда Ходжа Насреддин догадался о причине грустной задумчивости длинного.

– Моя прекрасная Гюльджан, – сказал он, – будет справедливо, если ты возьмешь двух последних сыновей к себе, на белого ишака.

С тех пор заскучал уже белый ишак, а серый, наоборот, поставя уши торчком, крутя и размахивая хвостом, бойко перебирал по дороге копытами.

Но прошло еще два года – и скучать начали оба ишака.

– Может быть, купим третьего? – предложила Гюльджан.

– О моя несравненная роза, ведь если так будет продолжаться, то скоро за нами пойдет целый караван! – ответил Ходжа Насреддин. – Нет, я вижу, годы странствий окончились для меня, пришли годы созерцания и размышления.

– Слава аллаху! – воскликнула Гюльджан. – Наконец ты догадался, что в твоём возрасте и с таким семейством неприлично болтаться по дорогам, подобно какому-то бездомному бродяге. Мы поедем в Бухару, поселимся у моего отца...

– Подожди, – остановил ее Ходжа Насреддин, – ты забыла, что в Бухаре царствует все тот же пресветлый эмир, и он, конечно, помнит своего придворного звездочета Гуссейна Гуслию. Поселимся лучше где-нибудь здесь, в Коканде или в Ходженте.

С бугра, где он поставил в этот день свой шатер для ночлега, были видны две дороги: одна – большая, торговая, на Коканд, вторая – узенькая, проселочная, к Ходженту. По большой кокандской дороге, в тяжелом облаке пыли, медленно катился темный гудящий поток верблюжьих караванов, арб, всадников, пешеходов; ходжентская дорога была пустынной, тихой, и высокое небо над нею чуть розовело, окрашенное прозрачным светом зари.

– Поедем в Коканд, – сказал Ходжа Насреддин.

– Нет, поедем лучше в Ходжент, – ответила Гюльджан. – Я устала от больших городов, от шумных базаров, я хочу отдохнуть в тишине.

Он понял свою ошибку: желая попасть в Коканд и зная природу супруги, следовало предложить ей Ходжент. «В такое захолустье!» – воскликнула бы она, и утром они направились бы по большой дороге. Но исправлять ошибку было поздно, а спорить даже опасно, ибо права старинная пословица: «Кто спорит с женой – сокращает свое долголетие».

Вздыхнув, Ходжа Насреддин сказал:

– Я был когда-то в Ходженте и до сих пор помню вкус тамошнего знаменитого винограда. Хорошо, пусть будет по-твоему...

И они поселились в Ходженте, в слободе лепешечников Раззок, на самом берегу Сыр-Дарьи. Великая река, кормилица бесчисленных поколений, вырвавшись из тесных ущелий в долину, смиряла здесь бешеный напор своих желтых клокочущих вод и у Ходжента шла плавно, могуче, даруя жизнь растениям, животным и людям и усыпляя по ночам детей Ходжи Насреддина тихим журчанием струй, подмывающих глинистый берег.

В те годы, о которых идет здесь речь, от былой славы Ходжента и от его богатств ничего уже не осталось. Теперь это был маленький дремлющий городок, населенный мелкими лавочниками, садоводами, огородниками и множеством дряхлых чалмоносных стариков – отставных мулл, мударрисов, улемов и кадиев. Старики молились в мечетях, старики сидели в чайханах, бродили по улицам, переулкам и площадям, наполняя город немощным кашлем и шарканьем туфель, отстающих от пяток. Такое скопление стариков в одном городе было удивительным, – казалось, все они тайно сговорились отдать свой прах только желтой ходжентской земле и с этой целью съехались сюда со всех концов мусульманского мира.

Опоясанный со всех сторон многоводными арыками, защищенный горами от холодных ветров, Ходжент с его садами и виноградниками был истинным раем для всякого, утом-

ленного бурями жизни, – вот почему ходжентцы никогда не уставали благодарить аллаха за великое счастье жить в таком благословленном месте.

Один только человек во всем городе думал иначе – некий Узакбай, бывший базарный надзиратель из Самарканда. Впрочем, этот Узакбай был вообще странным и неприветливым человеком: всегда носил большие темные очки, закрывавшие наполовину его лицо, ни с кем не сходилась, не разговаривал, нигде не бывал в гостях и никого не приглашал к себе. Такая необщительность подсказала соседям вывод, что он носит в себе темную душу, отягощенную многими злодеяниями. Мальчишки шарахались от него в стороны, крича из-за углов и заборов: «Филин! Очкастый филин!..» А он все молчал, покачивая только головой и невесело улыбаясь этому прозвищу.

Да, под личиною Узакбая скрывался Ходжа Насреддин. Он знал: в этом тесном городке, где каждый человек на виду, достаточно ему ошибиться в одном слове, сделать один неверный шаг – и на его семью обрушится целый самум! Пришлось закрыть лицо темными очками, принять чужое имя, распугать нелюдимостью соседей и, совершив все это, почувствовать Ходжент угрюмой тюрьмой, а себя самого – несчастным и обездоленным на земле.

Он горько сетовал на аллаха, который вложил в его душу два противоречивых и взаимовраждебных начала: неистребимую страсть к бродяжничеству и горячую любовь к семье. Раздираемый этими силами надвое, он был истинным мучеником, тем более что свои страдания скрывал на самом дне сердца. Кому он мог пожаловаться, с кем поделиться? С Гюльджан, верной и горячо любимой подругой? Но в ней-то как раз и воплощалась одна из раздирающих сил; воплощением же второй был ишак, мирно дремавший и толстевший над своей кормушкой. И хотя ишак был лишен дара человеческой речи, только перед ним по ночам и мог излиться несчастный страдалец.

А наступающий новый день был похож на вчерашний. Ходжа Насреддин опять надевал очки, сквозь которые самое солнце казалось ему темным и тусклым, и шел на базар за покупками. Вернувшись, принимался за всякие мелкие дела по хозяйству – во дворике, в саду либо в сарае.

Но вечер всегда и безраздельно принадлежал ему. Семья ужинала без хозяина; он в это время сидел в одной окраинной чайхане на берегу Сыр-Дарьи.

Это была самая убогая, самая грязная во всем Ходженте чайхана, посещаемая только нищими, ворами, бродягами и прочим городским сбродом. Но зато здесь Ходжа Насреддин чувствовал себя в безопасности.

Чадно дымили плошки с бараньим жиром. Рябой чайханщик – скупщик краденого, с перебитым носом и бесстыдно задранными дырами ноздрей, суетился перед кипящими кумганами. Скоро начинали собираться и гости. Наполняя воздух отвратительной вонью своих невероятных лохмотьев, происхождение которых не взялся бы определить даже сам верховный вождь цыганских племен люли, в тибетейках, засаленных до того, что их можно было поджаривать, горбатые, хромые, слепые, расслабленные, с жилами, пораженными трясучкой, в коросте и язвах, с палками и на костылях, гости со всех сторон ползли в чайхану и с криками, бранью, спорами начинали обсуждать дневные дела, свои грошовые удачи и промахи. Глядя на всю эту голытьбу, копошащуюся в тусклом свете коптилок, Ходжа Насреддин горько думал: «Вот все, что осталось мне от большого и прекрасного мира!»

А мир лежал перед ним – широкий, просторный, открытый во все концы... Заря меркла, сумерки сгущались, затихшая река дышала прохладной свежестью – мир покорялся ночи, и звезды, разгораясь, все чище, ярче, отдалялись от сквозной воздушной черноты неба и тянули к земле дрожащие хрустальные нити – «струны ангелов», как сказал бы Хафиз.

Ходжа Насреддин не спешил домой. Половина гостей уже храпела вповалку на грязном полу, чайханщик тушил огни под кумганами, уже начиналась по всему городу первая сонно-певучая переключка петухов, а он все сидел, все думал, пытаясь найти выход, который бы

примирил в его душе две уже упомянутые взаимовраждебные силы и освободил бы его из ходженского нестерпимого плена.

Он и сам еще не знал в это время, что его ходжентский плен уже кончился: в душе созрела решимость и ждет минуты, чтобы подняться в разум, а затем претвориться в дела; ему, как нависшей лавине, не хватало только толчка.

Глава вторая

Наконец судьба послала ему одну удивительную встречу, послужившую началом событий.

Направляясь по вечерам в чайхану, Ходжа Насреддин всегда проходил мимо одного глухонемого нищего, сидевшего под камышовым навесом у входа в старую, полуразвалившуюся мечеть Гюхар-Шад. По виду это был самый обыкновенный нищий, ничем не отличавшийся от своих бесчисленных собратьев, что во множестве сновали по базару, бродили по улицам, густо роились вокруг мечетей, гробниц и прочих священных мест, способствующих размягчению сердец правоверных, а главное – ослаблению завязок на их кошельках. Одно только было непонятно в этом нищем: почему он избрал для себя мечеть давно бездействующую, никем не посещаемую и малопригодную для процветания его ремесла?.. Получив от Ходжи Насреддина ежедневные полтаньга, нищий благодарил молчаливым поклоном, кротким взглядом добрых старческих глаз, как бы вернувших себе из далекого прошлого детскую ясность, сворачивал свою дырявую подстилку и удалялся в мечеть, в развалины, где, по-видимому, и жил, деля свое одиночество с летучими мышами и совами.

И вот однажды глухонемой нищий вдруг заговорил. Случилось это в конце зимы, в ненастных сумерках; тучи закрывали зарю, кропил косой редкий дождь, свистел в оголенных деревьях ветер, рябил тусклую воду в лужах, трепал и заворачивал камышовый навес над головою старого нищего. Ходжа Насреддин остановился перед ним, полез в карман за монетой, но достать не успел – нищий простер к нему иссохшую руку и проникновенным голосом сказал:

– Не печалься, Ходжа Насреддин, скоро ты сбросишь свои темные очки.

Ходжа Насреддин так и замер на месте с вытаращенными глазами, приоткрытым ртом и рукой, засунутой в карман. Он хорошо знал все хитрости нищих и не удивился бы тому, что глухонемой заговорил, но откуда знает старик его имя?

Нищий угадал мысли собеседника:

– Не бойся меня, Ходжа Насреддин! – В глубине его бледных глаз вспыхнул свет. – В надежде получить от тебя помощь, я уже много лет стремлюсь к беседе с тобою, но до сих пор это никогда не удавалось мне, хотя я неоднократно видел тебя и раньше. Я видел тебя в Бухаре, когда сидел со своей чашечкой возле водоема Ляби-Хауз, видел тебя в Самарканде...

– Подожди, – перебил Ходжа Насреддин, удивление которого возрастало с каждым словом нищего. – Каким образом и откуда ты узнал о моем пребывании здесь? Ты вселил в мое сердце тревогу.

– Извергни ее из своего сердца! Во всей округе только я знаю о твоём пребывании здесь. Мне сказал об этом один мой духовный брат из нашего тайного братства Молчащих и Постигающих, или – иначе – Звездно-странственных дервишей. Проходя в начале зимы по базару, он случайно увидел тебя как раз в то мгновение, когда неосторожный носильщик своим тюком сбил на землю твои темные очки...

– Припоминаю! – отозвался Ходжа Насреддин. – Однако у твоего духовного брата изрядно острые глаза, если он успел в одно это мгновение опознать меня. Уверен ли ты, что он не сочетает тайного братства Молчащих и Постигающих с другим и тоже тайным братством Подслушивающих, Подсматривающих и Выслеживающих?

– Не греш! – строго остановил его нищий. – Это был добродетельный брат, память о котором для меня священна, ибо он уже перешел из бренного земного бытия в иное, высшее состояние.

– Прости меня, мудрый старец, – сказал Ходжа Насреддин, чувствуя к дервишу внутреннее влечение и доверяясь ему. – Скажи теперь: почему именно сегодня ты обратился ко мне?

– По нашему уставу я в течение трехсот шестидесяти трех дней в году глух и нем, – ответил старик. – Ты первый, с кем я заговорил после годового молчания. Именно сегодня начались те мои два дня, когда я волен снять печать со своих уст. Что же касается прежних встреч, то они всегда бывали либо раньше, либо позже этих дней, и я молчал, хотя мое сердце стремилось к тебе и душа обливалась слезами.

– Говори, в чем твое горе, какой помощи ты ждешь от меня! – воскликнул Ходжа Насреддин, тронутый словами старика. – Может быть, ты нуждаешься в деньгах, почтенный старец? У меня как раз припрятаны в укромном местечке сто пятьдесят таньга, о которых моя жена ничего не знает.

– Я дервиш и не ищу в мире никаких выгод, кроме духовных, – ответил старик с достоинством. – Нет, не о деньгах я прошу тебя; однако здесь, на дороге, на холодном ветру, не место говорить о подобных вещах; идем со мною.

Они пошли в развалины мечети.

Старик провел гостя в маленькую келью, каким-то чудом уцелевшую от землетрясения, зажег с помощью огнива светильник. Ходжа Насреддин увидел в углу солому – постель старика, глиняный кувшин для воды, черепок, накрытый темной и черствой лепешкой, объединенной мышами по краям. Больше ничего не было в келье, да больше ничего и не нужно было старику, постигшему всю глубину и всю мудрость учения дервишей.

Взяв лепешку, старик осторожно обломал в ладонь объединенные края, высыпал крошки на лоскут, постеленный в углу перед мышиной норкой. Затем разделил лепешку пополам и подал одну половину гостю:

– Поужинаем сначала перед нашей беседой.

Гудел за стеною ветер, проскальзывал в щели, пригибая и колебля тонкое пламя светильника; вторя качаниям огня, по стенам и потолку качалась тень, то застилая, то снова открывая худое горбоносое лицо старика. Здесь, в этой убогой келье, под унылый свист ветра, под слитный шум упорного дождя, под мышиный писк и возню в соломе, началась их беседа. Старик полез куда-то в угол, достал из-под соломы узелок, развязал его и высыпал на каменный пол горсть мелкого серебра.

– Вот деньги, которые ты опускал в мою чашечку. Я сберег их все, до твоей вчерашней монеты; возьми и присоедини к тем ста пятидесяти таньга, о которых не знает твоя жена.

– Никогда еще я не брал назад своей милостыни! – возразил Ходжа Насреддин. – Оставь у себя эти деньги, почтенный старец, и при случае отдай какому-нибудь обремененному семьей бедняку. Теперь скажи – какой помощи ты ждешь от меня?

Не ответив, старик погрузился в глубокое раздумье, тягостное для его сердца, судя по вздохам, которыми оно сопровождалось. Прошло много времени, фитиль нагорел и потрескивал, разбрасывая искры, осевшее пламя едва теплилось.

Ходжа Насреддин палочкой осторожно снял нагар – пламя вспыхнуло, осветив старика. Он поднял голову:

– Ответь мне сначала, Ходжа Насреддин, познал ли ты уже свою веру?

– Свою веру? – удивился Ходжа Насреддин. – Я знаю ее с детских лет. Ислам – вот моя вера, хотя должен признаться, что частенько против нее грешу.

– Это общая вера, – сказал старик. – Но каждому из живущих открывается еще своя особая, частная вера, существующая только для этого человека. Я спрашиваю о твоей частной вере, только для тебя.

Ходжа Насреддин вынужден был сознаться, что своей частной веры не знает.

– Так я и думал, – заключил старец. – А между тем в ней-то как раз и содержится ключ ко всем загадкам, которые мучают нас. Познай свою веру, и тьма станет для тебя светом, путаница – ясностью, бессмыслица – соразмерностью. Твоя жизнь, о Ходжа Насреддин, была всегда многодеятельной, но раньше это касалось только внешнего ее течения, в то время как дух, не смущаемый никакими поисками, вполне обходился простым здравым смыслом и беспрепятственно наслаждался всей полнотой своего родства с миром. А теперь деятельность передалась внутрь, захватила и дух, который как бы тоже завел своего ишака, и с ним кочует из Бухары причин в Стамбул следствий, Багдад сомнений и Дамаск отрицаний.

Ищи свою веру, Ходжа Насреддин; если сам не сможешь найти – я подскажу.

– О мудрый старец, ты заглянул на самое дно моей души! Тебе известны все мои сокровенные помыслы!

– Известны, – подтвердил старец. – Знай, что я мысленно сопутствую тебе во всех твоих скитаниях, соучаствую во всех твоих делах. Где бы ты ни был и что бы ни делал – все, до последнего слова, оброненного тобой, доходит до меня и запечатлевается в моей памяти, чтобы затем переплавиться в добродетельное размышление. Во мне ты видишь как бы самого себя, но уже перешедшего в заключительный срок земного бытия, когда на смену бурям и страстям приходят покой и мудрость.

– Великий аллах! Поистине, удивительный случай: встретить на дороге самого себя, но уже стариком и в образе нищего!

В голове у Ходжи Насреддина слегка гудело: старик своими странными речами сбил его с толку и поверг в недоумение.

Но это было только началом; еще много удивительного предстояло услышать ему.

– Почтенный старец, но в чем же все-таки заключается то дело, ради которого ты обратился ко мне? Дервиш опустил седую голову.

– Близок, близок час, когда, безгласный и бездыханный, возлягу я на погребальные носилки, – отозвался он с глубокой скорбью в голосе. – Предвидение этого часа наполняет меня трепетом, и в слезах я обращаю к тебе свои мольбы: помоги!

– Чем? Поднять тебя с погребальных носилок?

– Нет, спаси мое духовное существо от возвращения в низшее первоначальное состояние, в котором я уже был когда-то, в незапамятные времена. Сколько перевоплощений прошел за это бесконечное время мой дух, сколько тяжких усилий он совершил на пути к совершенству, а теперь, по моей преступной нерадивости, ему предстоит начать весь круг сызнова, с первой, самой несовершенной ступени...

– Милосердный аллах! – воскликнул Ходжа Насреддин, трясая головой. – Я ничего не понимаю, как есть ничего! Скажи мне простыми, ясными словами – что нужно тебе от меня?

– Якорь моего спасения в твоих руках! – повторил старик. – Но вижу, ты не поймешь меня, пока я не открою тебе некоторых тайн, известных нам, Молчащим и Постигающим.

– Хорошо, – покорился Ходжа Насреддин, видя, что другим путем добиться от старика толкового ответа нельзя. – Хорошо, я готов к приятию твоих тайн.

– Тогда начнем во имя истины! – сказал нищий торжественным голосом. – Только пересядь сначала на другое место: мои мыши боятся и до сих пор не вышли к ужину из своей норки.

Ходжа Насреддин пересел на другое место, мыши вышли из своей норки и поужинали; после этого старик, молитвенно огладив ладонями бороду, возгласил:

– Да благословит высшая мудрость нашу беседу и ниспошлет тебе дар понимания, а мне – дар ясности и глубины в моих словах.

Он закрыл глаза и несколько минут молчал, сохраняя на лице важное, сосредоточенное выражение, точно прислушиваясь к таинственному голосу изнутри; потом его лицо прояснилось, и он поднял палец, призывая гостя ко вниманию.

Тайна старца о перевоплощениях духа оказалась давно известной Ходже Насреддину из бесед с индийскими дервишами, но вежливости ради он молчал. Незаметно мысли его отвлеклись в сторону – к семье, к близящейся весне, и от поучений старика остался лишь однозвучный голос, подобный мерному жужжанию прялки, а слова исчезли. «Через неделю подует южный ветер, дороги размякнут, снег на перевалах осядет, – думал Ходжа Насреддин. – Пройдет еще неделя, и поднимутся в путь дальние караваны, поднимутся кочевники со своими стадами...»

А прялка все жужжала, жужжала... А еще через минуту в келье послышался легкий храп с переливами и нежное посвистывание носом.

Ходжа Насреддин спал. Губы его приоткрылись, тюбетейка съехала на левый глаз, голова поникла, плечи обвисли. К счастью, он сидел в тени, старец не заметил его постыдной сонливости. Но великие тайны, завеса над которыми уже приподнималась, так и остались закрытыми для него, а вместе с ним – и для нас.

Он спал, и сны его были далеки от всяких надземных тайн. Снились ему дороги, дороги, о которых так неотступно думал он наяву, шумные базары, столь милые его сердцу, верблюжьи караваны в пустыне, горные перевалы, где путники, держась за общую веревку, восходят сквозь мокрые плотные облака. Он видел слепящий синий пламень южных морей, зыбкие, хрустально гладкие валы, тяжеловесно катящиеся под высокий нос корабля, скрежет и ползание вдоль бортов ржавой рулевой цепи, выгнутые, полные ветра паруса турецких фелюг...

Тюбетейка соскользнула с головы Ходжи Насреддина, упала ему на колени. Он вздрогнул, проснулся.

Дервиш продолжал свое поучение:

– Могут спросить – где же находит свое новое воплощение наш дух, покинувший землю, и где пребывал он раньше, до появления на земле? А планеты, а звезды, рассеянные во вселенной! Мы приходим на землю с какой-то звезды и уходим на звезду; мы – звездные странники, о Ходжа Насреддин! Вот почему звездный купол влечет к себе наши взоры и наполняет нас возвышенным умилением: мы видим над собою нашу вечную и безграничную родину, от которой получили бессмертие.

Ходжа Насреддин решил, что настало самое время задать старику какой-нибудь вопрос и этим затемнить свою постыдную сонливость:

– О мудрый старец, мне часто приходилось видеть падающие звезды. Как же понимать их падение? Ведь хорошо, если оборвалась и упала та звезда, на которой я уже успел побывать в одном из прежних своих воплощений, но что, если упадет та, на которую я должен переселиться? Где же мой дух будет ее разыскивать по окончании земного бытия и куда он должен деваться, если не найдет во вселенной?

Старик слегка опешил и, откинув голову, долго смотрел на Ходжу Насреддина с изумлением во взгляде.

– А я только что хотел похвалить тебя за усердие, с которым ты вникал в мои поучения, не перебивая хода моих мыслей глупыми и неуместными вопросами, – сказал он с неудовольствием. – Однако уже поздно, уже пропели предполуночные петухи и городская стража ударила в барабаны, призывая жителей тушить огни в очагах; иди с миром домой, подумай о тайнах, которые я поведал тебе, а завтра вечером приходи опять, и мы продолжим беседу.

Ходжа Насреддин встал, молча поклонился нищему, вышел из кельи. Ночь встретила его сырым ветром и теменью – непроглядной, как тот мрак невежества, в котором пребывают многие ленивые духом и разумом. Но дождь прекратился, тучи редели; в просвет, обозначившийся на западе, выглянула одинокая звездочка – робкая, словно бы вся заплаканная. Удивленно смотрела она с высоты, сквозь мокрые ресницы, на черную холодную землю, и столько ласковой кротости было в ее сиянии, что Ходжа Насреддин, умилившись, пожелал

непременно попасть на эту именно звезду, если уж звездные странствия действительно суждены ему. «О прекрасная голубая звездочка, будь приветлива ко мне, когда придет мой час!» – мысленно воскликнул он, воспарив своим бессмертным духом в надземные выси, – но как раз в эту минуту его смертная плотская оболочка поскользнулась на жиденьком мостике из двух жердочек и шумно, с плеском и брызгами, свалилась в глубокий арык, полный ледяной воды. Ходжа Насреддин промок до нитки, вывозился в грязи, продрог и посинел, прежде чем добрался до дома. «И куда только носит тебя шайтан в такую темень!» – бранилась Гюльджан, развешивая перед очагом его мокрую одежду; он молчал, ругая в душе последними словами благочестивого старца со всеми его звездностранственными поучениями, ради которых приходится совершать по ночам столь прискорбные земные странствия...

Однако на следующий вечер он опять сидел в той же келье, слушая второе поучение нищего.

На этот раз он узнал, что для каждого воплощения есть свой особый закон, который наш дух обязан исполнить, дабы закончить воплощение более совершенным и обогатиться новыми свойствами, необходимыми для перехода в следующее, высшее бытие.

– Что касается земного воплощения, – говорил старик, – то его закон – это закон деятельного добра. Знай: будущие радостные века земли принадлежат деятельным – назову их Борющимися и Созидающими дервишами, – которым и предстоит окончательно сокрушить земное зло... Ты, о Ходжа Насреддин, предтеча этих благодоблестных созидателей, вот почему смысл твоего земного бытия столь значителен, что должен послужить примером для многих поколений после нас...

Ходжа Насреддин с неподдельным вниманием слушал пророчества нищего о райском расцвете земли, – не раньше, правда, чем тысяча через пятьсот лет... Старый дервиш был в точности осведомлен о своем бессмертии, поэтому держался с веками и тысячелетиями запросто, на дружеской ноге, но Ходжу Насреддина такой срок повергал в уныние. Он привык считать землю своим родным домом, а не случайным караван-сараям на путях звездных странствований, и ему хотелось поскорее навести в этом доме порядок. Пятьсот тысяч лет! Умственный взор его терялся в этой необозримости...

А время шло к полуночи. Ходжа Насреддин попробовал вернуть звездностранственного старца из его туманных парений к земле, к тому делу, ради которого они сошлись в этой келье.

– Чувствуя себя достаточно просветленным, о вещий старец, – заговорил он со всей возможной почтительностью, – я полагаю... позволяю себе, так сказать, дерзость, в расчете на твое снисхождение... что теперь смог бы уразуметь, какой именно помощи ты ждешь от меня? Осмелюсь добавить, что время позднее, а минуты летят, – поведай же мне свое дело.

Старец поник головою:

– Дело это многотрудное...

– Говори! Берусь исполнить, лишь бы оно не выходило за пределы человеческих сил. Впрочем, если и выходит, но не слишком далеко, я тоже исполню!

Глубоко вздохнув, старец начал свой рассказ:

– В те дни, когда я ничего еще не знал о братстве Молчащих и Постигающих, когда я был богат и вел мерзостный образ жизни, предаваясь наслаждениям и различным порокам, когда мне еще и в голову не приходило раздать все свое имущество бедным, а самому остаться нагим и босым, – в те дни, в числе прочих богатств, я владел одним горным озером, находящимся здесь, в Фергане. И вот однажды – о черный день моей жизни! – я проиграл это озеро в кости некоему Агабеку, соединяющему в себе свирепость дракона и бессердечие паука. Завладев озером, Агабек поселился на его берегу и обложил несчастных жителей селения такими неслыханными поборами за воду для поливов, что многие впали в бедность, а иные разорились совсем...

Скрытое рыдание перехватило голос старика, остановив на минуту его речь. Он справился со своим волнением и продолжал:

– Каждый год с наступлением весны ко мне бегут слухи о свирепости и корыстолюбии этого человека. Я мучаюсь, проливаю слезы, терзаюсь раскаянием, но исправить ничего не могу. Подобно камню, висит на мне это зло, и когда я окончу земной путь, оно воспрепятствует моему переходу в иное, высшее бытие, ибо дух человека не может считаться достигшим должной степени совершенства, если на земле после него осталось посеянное им и не исправленное...

– Понимаю, понимаю! – подхватил Ходжа Насреддин, заметив, что старец расправляет крылья, готовясь опять воспарить. – Значит, я должен отобрать у Агабека это озеро? Ты прав, многомудрый наставник, – такой задачи я никогда бы не смог для себя уяснить, не выслушав предварительно всех твоих поучений. Слушай же: я никогда не видел этого Агабека, но заранее тебе ручаюсь, что его доходы сильно уменьшатся в этом году. Говори, где находится оно, твое озеро?

Старец молчал. В ночной тишине Ходжа Насреддин услышал далекое пение полуночных петухов.

Последний, второй день старца окончился, его уста сомкнулись до следующей весны, согласно обету.

– Одно слово! – в тревоге воскликнул Ходжа Насреддин. – Одно только слово – где? Старец молчал. Ходжа Насреддин не мог скрыть досады:

– На все нашлось у тебя время, достопочтенный старец: на длинные звездностранные разговоры, на поучения о мировом свете, – но одно-единственное земное слово, к тому же самое нужное, тобою не сказано, последней секунды тебе не хватило!

В невыразимой скорби, в отчаянии нищий закрыл ладонями худое, изможденное лицо.

Жалость горячей волной толкнула Ходжу Насреддина в сердце, щеки залились жгучей краской стыда.

– Прости меня за жестокий упрек! – воскликнул он, коснувшись рукой плеча нищего. – Утешься, я знаю: твое озеро – в горах Ферганы, этого достаточно. Я найду озеро и найду Агабека, клянусь той звездой, на которую мне предстоит переселиться! Как только зацветет миндаль в моем садике, я тронусь в путь. Совершенствуй спокойно свое духовное существо и дальше, о звездностранный старец, а все остальное предоставь мне!

Возвращаясь в темноте домой, шлепая по лужам, он то усмехался, то погружался в раздумье. «Безумец или мудрец этот нищий?» – спрашивал он себя. Ночь была холодная, сырая, но в пахучей влажности ветра, в чистоте и ясности звездного блеска чувствовалась близость весны.

Ходжа Насреддин свернул в свой переулок. Здесь у дороги стоял дуплистый, хорошо ему знакомый тополь – очень старый, судя по рубцам и черным мозолям на его заскорузлой коре. Сейчас его ствол был невидим в темноте, слившейся воедино землю, дома и заборы, но раскидистая крона тонко сквозила на темно-прозрачном небе, слегка серебристом от звезд. Подпрыгнув, Ходжа Насреддин поймал нижнюю ветку тополя и осторожно, чтобы не сломать, притянул к себе. Всего неделю назад тополь был безжизненным, в тяжелом зимнем сне, как в смерти, а сегодня под пальцами явственно обозначились почки, еще не клейкие, но уже благоухающие. И, прикинув ухом к морщинистой коре, Ходжа Насреддин уловил слабый, едва заметный звук, подобный стону далекой струны, – то ли гул полуночного ветра, то ли начавшееся внутри тополя сокровенное движение соков от корня к вершине.

Глава третья

Со времени этих памятных бесед Ходжа Насреддин уже не опускал денег в чашечку старого нищего, но всегда захватывал из дома свежую ячменную лепешку, завернутую в чистую тряпочку.

Нищий, как и раньше, благодарил молчаливым поклоном и взглядом, полным надежды.

– Скоро, теперь уже скоро! – отвечал Ходжа Насреддин. – Вот потеплеет в горах, подсохнут дороги, и я двинусь на розыски озера.

Все чище, выше, синее становилось небо, все реже заволакивалось оно тучами; в полдень на солнце можно было сидеть без халата. Взмолнованный приходом весны, Ходжа Насреддин похудел, глаза его светились молодым острым блеском; сон его в эти дни был прерывист и чуток.

Прошла еще неделя; однажды ночью Ходжа Насреддин, томимый бессонницей, вышел в свой маленький садик – и замер от восхищения. Земля плыла в голубом дыму, а темно-прозрачный воздух над нею весь гудел и стонал, наполненный призывным гоготанием гусей, звоном и свистом утиных крыльев. Вольные птицы летели на север. «В дорогу, в дорогу!» – медными голосами кричали гуси, собирая высоко в небе, под самыми звездами, свои караваны; «Скорее, скорее!» – отвечали им суетливые утки и вразброд, как попало, со всех сторон, стаями, парами и одиночками, неслись низко и стремительно, почти задевая деревья. Вздыхал в саду ветер, осыпая землю белым дождем лепестков, гудела в арыках весенняя певучая вода; в конюшне тревожно и радостно заржал жеребенок и гулко ударил копытом в глиняный пол. Ходжа Насреддин долго стоял в забытии, внимая великому движению на небесных дорогах. Рассвет застал его в стойле у ишака.

– Не печалься, дни нашей скорби окончились! – говорил он, обняв за шею своего длинноухого друга. – Через неделю мы будем далеко отсюда, на больших дорогах, на шумных базарах. Но Гюльджан... Как быть с нею? Сказать ей прямо, открыть правду? Но ты ведь знаешь ее природу: если бы она вдруг утонула в реке, – спаси нас аллах и помилуй от подобного случая! – то я бы пошел искать ее тело не вниз по течению, а вверх!

Он задумался. Различные мысли, как летучие молнии, вспыхивали в его уме, но он отвергал их все, одну за другой.

– Неужели я так поглупел? Что же ты молчишь, мой верный ишак; думай, помогай мне!

Ишак ответил вздохом и бурчаньем в животе. В это время прозрачный розовый луч восхода скользнул сквозь дверную щель в стойло; глаза Ходжи Насреддина ярко вспыхнули навстречу заре.

– Ну, конечно! – воскликнул он. – Если я не могу уехать от семьи, то почему бы моей семье не уехать от меня?..

Вернувшись в этот день с базара, он сказал жене:

– Я встретил сегодня одного бухарца, который хорошо знает старого Нияза, твоего отца. Этот бухарец выехал из Бухары два месяца назад и сейчас с попутным караваном направляется обратно. Он рассказал, что твой отец жив, здоров и не терпит нужды, только сильно скучает. Как жаль, что мне запрещен въезд в Бухару и мы не можем навестить его!

Гюльджан ничего не ответила, склонилась ниже над своим шитьем. Ходжа Насреддин смотрел на нее с грустной и доброй усмешкой. Кто мог бы узнать в этой толстой крикливой женщине с красным лицом прежнюю Гюльджан? Но у Ходжи Насреддина было двойное зрение, и он, когда хотел, мог смотреть на свою любимую жену глазами сердца и видеть ее прежней. «О моя кроткая голубка, прости меня за этот обман! – мысленно восклицал он. – Но ты сама хорошо знаешь свою природу – скажи по совести, могу ли я поступить иначе?»

На следующий день он возобновил разговор о бухарце.

– Я хотел позвать его в гости, но караван уже ушел в Бухару, – сказал он за обедом, глядя в стену, чтобы не встречаться глазами с Гюльджан, потому что на самом деле никакого бухарца ни вчера, ни сегодня не видел, а все придумал, от начала до конца.

– Через неделю они будут в Бухаре, – задумчиво говорил он. – Войдут в город через южные ворота, что видны с крыши вашего дома. И, возможно, старый Нияз увидит с крыши этот караван. А потом бухарец расскажет ему о нас – что мы живы, здоровы и живем в Ходженте, отделенные от Бухары всего лишь неделей пути. И еще он расскажет Ниязу, что аллах послал ему семерых внуков и все они любят своего деда, хотя никогда не видели его...

Гюльджан вздохнула, на ее ресницах повисла слеза. Ходжа Насреддин понял: глина ее сердца размягчена, время вертеть гончарный круг своей хитрости и лепить горшок замысла.

– А надо бы, надо бы показать старику его внуков, – сказал он с грустью в голосе. – Да поразит аллах слепотой и гнойными язвами этого разбойника эмира, из-за которого я не могу появиться в Бухаре! Впрочем, запрет касается только меня, а ты с детьми вполне могла бы поехать. Через неделю ты уже обнимала бы старика; жаль, что у нас нет денег на поездку.

– Как нет денег? – отозвалась Гюльджан. – А кошелек с восемьюстами таньга, что лежит в сундуке?

Ходжа Насреддин только и ждал, чтобы она первая заговорила о кошельке. Весь дальнейший разговор был известен ему заранее, как известна бывает опытному лодочнику река, на которой он вырос, – со всеми изгибами, отмелями и опасными перекатами.

Он уверенно повел вперед свою лодку.

– О нет! – воскликнул он. – Этих денег трогать нельзя; они нужны для дома. Я уже распределил.

– Распределил? Вот как?

Опасный перекат близился. В голосе жены Ходжа Насреддин ясно слышал грозный бурлящий гул его водоворотов.

Он вторично ударил веслом и, минуя все тихие заводи, вывел свою лодку на самую середину реки, в быстрину:

– Во-первых, нужно в саду устроить хороший водоем и выстлать его каменными плитами, чтобы детям было где купаться в жаркие дни.

– Ты совершенно прав, – отозвалась Гюльджан. – Как же обойтись без водоема, если река проходит под самым нашим садом, в десяти шагах?... А выстлать можно и мрамором...

Лодка неслась стремительно, впереди уже виднелась белая пена, кипящая на подводных камнях.

– Водоем обойдется в двести таньга, – Ходжа Насреддин загнул два пальца. – Кроме того, я думаю построить в саду беседку и убрать ее внутри коврами. Плотники говорят, что на это понадобится еще двести. Столько же придется заплатить за ковры.

– Уже шестьсот, – сосчитала Гюльджан. – Остается еще двести.

– Они тоже нужны, – поспешил сказать Ходжа Насреддин. – Вместо нашей дощатой калитки я хочу поставить ореховую, резную. А напоследок позову мастеров, чтобы они расписали весь наш дом изнутри и снаружи синими цветами.

Синие цветы только сейчас пришли ему в голову; он сказал – и сам испугался.

– Зачем же снаружи? – спросила Гюльджан.

– Для красоты, – пояснил Ходжа Насреддин. Весло вдруг переломилось, лодка с размаху ударилась о камни, перевернулась, водоворот подхватил и понес Ходжу Насреддина. Были крики и были слезы до самого вечера.

– Чтобы навестить бедного одинокого старика – денег нет, а расписывать дом синими цветами – деньги есть! – кричала Гюльджан. – И зачем расписывать его снаружи: ведь все равно первый дождь смоем всю твою дурацкую роспись!

Ходжа Насреддин молчал. Два дня пришлось ему с непокрытой головой стоять под ливнем ее упреков, зато на третий день у ворот появилась крытая арба: торжествующая, гордая своей победой Гюльджан уезжала со всеми детьми в Бухару.

– Будь осторожен на мостах и на косогорах, – наставлял Ходжа Насреддин возницу. – Не пускай свою лошадь вскачь.

Пригревшийся на солнце возница клевал носом в сладкой дремоте; дремала и пегая кобыла, осев на левую заднюю ногу; наставления Ходжи Насреддина были совершенно излишними, ибо прошло уже очень много лет с тех пор, как эта почтенная пара пускалась вскачь.

Настелив на арбу мягкой рисовой соломы и прикрыв ее дорожным ковриком, Ходжа Насреддин долго носил из дому разные узлы, корзины, сумки; наконец из калитки вышла Гюльджан, а за нею цепочкой, по росту, – семеро, и все – сыновья.

Возница встрепенулся, приосанился в седле, крепче упер ноги в оглобли, взмахнул плетью, показывая всеми этими движениями, что он готов, и опять задремал, по опыту зная, что еще не скоро скажут ему: «Велик аллах над нами; ну – поехали!» А кобыла даже и не просыпалась, только переменила ногу, осев теперь на правую сторону.

Ходжа Насреддин помог жене взобраться по спицам колеса на арбу, затем передал ей всех сыновей, крепко целуя каждого на прощание. На арбе образовался многорукий пестро-головый клубок, издающий писк, визг и вопли, а посередине, как наседка над цыплятами, восседала озабоченная и в последнюю минуту взгрустнувшая Гюльджан.

– О мой дорогой супруг, хорошо ли ты запомнил мои поручения?

– Запомнил, все запомнил, о роза моего сердца! Во-первых, отнести меднику в починку дырявый кумган, во-вторых, прочистить дымоход, в-третьих, отдать мяснику долг, шестнадцать таньга.

– И еще – забор, – напомнила Гюльджан, указывая на широкий пролом в глиняном заборе, возле калитки. – Обязательно почини забор.

– Я примусь за него сегодня же, как только провожу вас. Не задерживайся в Бухаре слишком долго, о свет моих очей!

– Мы вернемся ровно через три месяца.

Снова началось прощание – объятия, поцелуи, писк, визг и вопли; Ходжа Насреддин в суматохе никак не мог уследить, какого из сыновей он поцеловал дважды, а какого пропустил, и в десятый раз принимался целовать всех сызнова.

Между тем солнце поднялось высоко, утренние легкие тени сменились дневными, короткими и резкими, возница выпался, кобыла застоялась – пришло время трогаться.

– Велик аллах над нами; ну – поехали! – дрогнувшим голосом сказал Ходжа Насреддин.

– Велик аллах! – ответил возница, и арба, скрипя, качаясь, медленно ворочая свои огромные колеса, двинулась в путь.

Ходжа Насреддин шел сзади. Миновали переулок, миновали знакомый тополь, что выбросил уже листья и навис легким зеленым облаком над дорогой.

Миновали базарную площадь; недалеко осталось до городских ворот.

Гюльджан сказала мужу:

– Если ты задумал провожать нас до самой Бухары, садись уж лучше рядом со мною.

Он поблагодарил ее улыбкой за эту шутку, остановил арбу, в последний раз перецеловал семейство – от Гюльджан до самого маленького... И долго потом стоял на дороге, глядя вслед уезжавшим; наконец арба скрылась за поворотом, ее скрипение затихло, – он остался один.

Задумчивый и грустный возвращался он домой, вспоминая слова Ибн-Хазма: «В разлуке три четверти горя берет себе остающийся, уходящий же уносит всего одну четверть».

Дворик встретил его солнечной тишиной; только кричала в саду светлым одиноким голосом иволга, – раньше, за вечным шумом и возней ребятишек, Ходжа Насреддин ни разу не слышал ее.

Не заходя в опустевший дом, он направился к сараю, приоткрыл дверь, тихонько свистнул. Темнота не ответила. Он свистнул вторично. В сарайчике послышались тяжкие вздохи, сопение, шуршание, и вышел ишак – толстый, сонный, хмурый, отвыкший от солнца, недовольно жмурящийся на ярком свету. Он поднял уши и посмотрел вокруг как бы в недоумении.

– Чему ты удивляешься? – спросил Ходжа Насреддин. – Что в доме так тихо? Они все уехали в Бухару, к старому Ниязу, и мы с тобою теперь свободны, как вольные птицы.

Собрать переметные сумки и заседлать ишака было для Ходжи Насреддина делом пяти минут.

– Ого, ты растолстел, как гиссарский баран! – говорил он, затягивая подпругу. – Но через неделю, клянусь, ты будешь похож на борзую собаку! У нас, мой верный товарищ, очень много дел и очень мало времени. Вперед! Большая дорога ждет нас!

Он запер дом большим медным замком, припер калитку изнутри двумя толстыми жердями – и затем, нисколько не тревожась о дальнейшей сохранности своего имущества, выехал через пролом в заборе на дорогу.

Глава четвертая

Миновав базарную площадь, он направил ишака в сторону мечети Гюхар-Шад.

Нищий сидел на обычном месте и, слегка запрокинув голову, устремив глаза в голубое небо, задумчиво и тихо улыбался, предчувствуя, быть может, свой полет сквозь эту светоносную бездну.

Ходжа Насреддин придержал ишака:

– Благослови меня, о мудрый старец! Жди меня обратно через три месяца; тогда я расскажу тебе об озере, об Агабеке и, надеюсь, смогу назвать мою веру.

Какой радостью, каким восторженным умилением осветилось лицо старика! Он встал, поклонился Ходже Насреддину, коснувшись рукою земли; губы его беззвучно шевелились – он творил напутственную молитву.

За городскими воротами дорога поворачивала к реке. Ходжа Насреддин ехал сначала побережными садами, потом свернул на проселок, в поля. Вокруг лежали влажно дымящиеся пашни, усыпанные людьми, – был самый разгар весенних работ.

В низинах, на рисовых полях, работали по трое: могучий горбатый бык, по колено в воде, медленно тащил грубую соху; за сохою, блестя изгибом потной спины, шел пахарь; сзади, высоко поднимая голенастые красные ноги, важно шагал аист, выбиравший из жидкого ила головастика и разных червячков. «Да благословит аллах ваши труды!» – кричал Ходжа Насреддин; все трое останавливались, поворачивали головы к дороге; пахарь, сбросив ладонью пот со лба, отвечал: «Спасибо, да благословит аллах твой путь!» – и медлительное шествие возобновлялось в прежнем порядке: впереди – бык, за ним – пахарь и сзади – аист.

Была середина апреля; тень от деревьев – еще вчера прозрачная, сквозная – сегодня ложилась на дорогу густо и слитно: так щедро весна одевала деревья молодой листвой. Многомилостивая, она не делала различий между благородным миндалем и убогим степным саксаулом, между двуногими и четвероногими, крылатыми и ползающими, – на всех равно изливала она свою благодать, признавая всех равно достойными жизни и счастья. Навстречу ей дружным ликующим хором свистели и щебетали птицы, квакали лягушки, звенели ящерицы, а муравьи, козявки, букашки и прочая земная мелочь, от природы лишенная голоса, выражала свой восторг суетливым ползанием и беготней.

Мог ли Ходжа Насреддин молчать среди такого радостного торжества? Опыренный весенним простором, солнцем, свободой, он присоединил свой голос к общему ликующему хору.

Вот его песня:

Арык бежит – для меня,
Пчела гудит – для меня,
Цветут сады – для меня,
Потому что я человек!

Певцы поют – для меня
И в бубны бьют – для меня,
Горит душа у меня,
Потому что я человек!

Поля вокруг – для меня,
Ишак мой – друг для меня,

Зовет дорога меня,
Потому что я человек!

Увидев стадо, идущее на водопой, он спел:

Блестит вода – для меня,
Идут стада – для меня,
Года не старят меня,
Потому что я человек!

Все, что попадалось ему на пути, находило отзвук в его песне, а так как земля сотворена аллахом круглой и поэтому земные дороги, переходя одна в другую, не имеют концов, то и песня Ходжи Насреддина была бесконечной; он мог бы объехать вокруг всего света, вернуться домой с противоположной стороны, но с этой же самой песней:

Земля кругла – для меня,
Она мала для меня,
Вновь к дому вернулся я,
Потому что я человек!

Гюльджан встречает меня,
Она ругает меня,
Она ворчит на меня,
Потом целует меня,
Потому что я человек!

Тем временем проселок становился все шире, колеи – глубже; навстречу попадалось все больше арб, всадников, пешеходов.

А к полудню Ходжа Насреддин с дрогнувшим сердцем слышал впереди глухой слитный рокот, подобный гулу далекого водопада.

То гудела и рокотала большая дорога!

Узнал этот гул и встрепунувшийся ишак и пустился навстречу ему крупной рысью. «Вперед! Вперед!» – кричал Ходжа Насреддин, колотя ишака пятками, но тот и без понуканий все время прибавлял ходу. Очки прыгали на носу Ходжи Насреддина; он сорвал их, швырнул на дорогу, – ударившись о камень, очки разлетелись стеклянными брызгами.

Через полчаса большая дорога была перед ним. Как всегда, над нею тяжелым облаком висела пыль, сквозь которую безостановочно двигались люди, лошади, быки, ишаки, верблюды: одни – в Коканд, на базар, другие – из Коканда. Все это теснилось, толкалось, ржало, мычало, ревело и вопило на разные голоса, производя оглушительный нестройный шум.

Ходжа Насреддин смело направил ишака в самую гущу; дорога подхватила его, закружила и понесла. Его толкнули справа, подпихнули слева, какой-то бык больно хлестнул его хвостом по лицу, верблюд чихнул на голову. «Берегись, берегись!» – нестерпимым голосом завопил ему в самое ухо возница, обезумевший от жары и сутолоки; Ходжа Насреддин едва успел увернуться от его плети, чтобы в следующее мгновение услышать над собою проклятия и брань дюжего караванщика, готового сокрушить все и всех на пути, лишь бы успеть со своим караваном на место к должному сроку и получить обещанную награду.

Но уже через пять минут Ходжа Насреддин вполне преодолел свое первоначальное замешательство. «Берегись, берегись!» – завопил он голосом, еще более нестерпимым, чем у того возницы, и устремился вперед. Он толкал и обгонял попутных, воевал со встреч-

ными, ловко скользил между арбами, нырял под цепи, связывающие караванных верблюдов, отважно направлял ишака в бурные, густо пахучие волны овечьих гуртов...

Ночь провел он в придорожной чайхане, а зарю встретил уже опять в седле. Дорога в этот ранний розовый час была тиха и пустынна: караваны, арбы еще не снимались с ночевки. Ишак брел то по одной стороне дороги, то по другой, как вздумается; Ходжа Насреддин не мешал ему и не трогал поводьев, занятый своими мыслями. «Еще одна ночь в пути – и завтра я увижу Коканд! Там, на базаре, я, уж наверное, узнаю что-нибудь об этом Агабеке», – думал он, и перед его мысленным взором вставали кокандские площади, мечети, базар, ханский дворец с обнесенным высокой стеной гаремом, где томились, по слухам, двести тридцать семь жен – по одной на каждый день года, не считая постов. В свое время Ходжа Насреддин побывал в Коканде и оставил по себе долгую память; он усмехнулся, вспомнив жаркую августовскую ночь, веревку на гаремной стене, душную темноту гаремных переходов и закоулков и, наконец... Но здесь Ходжа Насреддин круто осадил коня своей памяти. «О моя драгоценная Гюльджан, избрав тебя однажды, я сохраню тебе верность всегда и везде, даже в далеких воспоминаниях!» Восхищенный и растроганный собственным благородством, чувствуя в груди приятную расслабленность, как бы от погружения в теплую воду, он увлажненным взором глянул вокруг – и от неожиданности чуть не вывалился из седла.

Дороги не было; под копытами ишака расстился ковер свежей росистой травы и вилась узенькая тропинка; внизу под косогором бежала сердитая горная речка, вся в пене и водоворотах, сбоку зеленела стена цветущего джидовника. А впереди, вознося за облака снеговые вершины, горбился угрюмый хребет, что час назад был вправо от дороги.

– О сын греха, о гнусная помесь шакала и ящерицы, куда ты завез меня, проклятый ишак! – воскликнул Ходжа Насреддин. – Я никогда не бывал здесь, не знаю, куда ведет эта тропинка и что за речка шумит внизу! Зачем ты свернул с большой дороги, какие преступные замыслы носишь ты в своей голове?

Первым его побуждением было – поднять плетъ и хорошенько поработать ею; но такой мирный невозмутимый покой стоял вокруг, так приветливо жужжали в джидовнике пчелы и басили толстые мохнатые шмели, так благоухал воздух запахом дикого меда, так ласково грело солнце и улыбалось высокое небо, что его рука сама собой опустилась, не коснувшись плетью спины ишака.

– Ты, может быть, узнал от какого-нибудь встречного ишака, своего приятеля, где находится это озеро? – спросил Ходжа Насреддин. – Хорошо, пусть выбор пути принадлежит тебе; ты господин, я слуга; иди, куда хочешь, – я последую за тобою.

Мог ли в эту минуту он думать, что его слова окажутся пророческими, что скоро и впрямь он будет слугой своего ишака, а тот – его знатным, взыскательным господином? Но не будем забегать вперед, памятуя слова добродетельного Музаффера Юсупа Раджаби: «Не уподобляйся в рассказе щенку, что визжит и крутится, пытаясь схватить самого себя за кончик хвоста», – и перейдем к следующей главе, в которой повествуется, как Ходжа Насреддин вступил в единоборство со своим собственным именем, и о прискорбных для него последствиях этого события.

Глава пятая

После короткого отдыха он вновь занял свое место в седле, опустил поводья и спокойно погрузился в раздумья, предоставив ишаку выбирать дорогу по собственному разумению.

Тропинка поднималась все выше, речка спряталась на дно глубокой расщелины и, невидимая, глухо ворчала оттуда; навстречу во множестве бежали мелкие стремительные арыки, для которых там и здесь были перекинуты через расщелину водяные мостики – деревянные желобы, покрытые мшистой плесенью и задумчиво ронявшие в светлую глубину под собою тонкие струйки. Вскоре тропинка углубилась в пахучие заросли мелколистственного джидовника, плюща и дикого винограда; солнечный свет, пробиваясь сквозь ветви, скользил по лицу Ходжи Насреддина горячими пятнами; так же легко, не оставляя следов, скользили и его мысли, вернее – призраки мыслей: столь мимолетны и неуловимы были они. До ближайшего селения оказалось часа полтора пути, а весеннее солнце пригревало жарко; Ходжа Насреддин снял халат и ехал в одной рубаше, поминутно вытирая платком пот с лица. Зато селение встретило его прохладой чайханы, висевшей над обрывом и со всех сторон открытой горному ветру.

Дюжий чайханщик, обрадовавшись новому гостю, кинулся раздувать огонь под куманами, – потянуло смолистым запахом арчи, благоуханного дерева ферганских гор.

Гостей в чайхане, кроме Ходжи Насреддина, было четверо: старик с древней, изжелта-сивой бородой и такими же сивыми бровями, свисавшими на глаза, – видимо, здешний житель, земледелец; два пастуха в сыромятных мягких башмаках и в толстых войлочных обмотках, оплетенных ремнями, в грубых, войлочных же, накидках; и последний, четвертый, худой и бледный, бродячий ремесленник, сапожник или портной, с дорожным мешком, лежавшим у него под локтем. Они сидели тесным кружком, обходясь одним чайником и одной круговой чашкой, и шептались о чем-то запретном, что было ясно из их опасливых взглядов, кидаемых искоса на Ходжу Насреддина.

Не желая мешать их беседе, он повернулся спиной к ним, лицом к обрыву.

Внизу расстиралась цветущая долина: поля, сады, селения, дальше высились пологие холмы, а еще дальше – горы, за которыми лежала Индия. Утренняя дымка разошлась, и горы как будто придвинулись; Ходжа Насреддин ясно видел белые пустыни снежных полей, обрывы и ущелья, полные фиолетовых теней; ниже снегов по буро-каменистым склонам вились серебряные жилки потоков. И в лицо ему тянуло оттуда, с гор, тонким и свежим снеговым ветром.

А шепот в углу продолжался, и все горячее; Ходжа Насреддин чувствовал затылком четыре пары внимательных глаз. «Говорят обо мне, сейчас подойдут и спросят».

Так и случилось: старик поднялся, подошел к Ходже Насреддину:

– Мир тебе, путник, посетивший наше затерянное селение. Мы заметили следы желтой пыли на твоих сапогах, а здесь у нас дороги каменисты и дают только белую пыль. И мы решили, что ты человек чужеземный и приехал к нам из долины; верно ли это?

– Да, я приехал из долины, – сказал Ходжа Насреддин, протягивая старику чашку и звеня по ней ногтем в знак приглашения.

– Тогда скажи нам, о путник, – молвил старик, приняв чашку и усаживаясь напротив, – какие необыкновенные события произошли в долине за несколько последних дней? Быть может, взбунтовались ходжентские лепешечники? Или канибадамские маслоделы отказались платить подати? Или, может быть, что-нибудь стряслось в Ура-Тюбе?

– Нет, я ничего такого не слышал, – ответил Ходжа Насреддин, удивленный этими вопросами.

Старик многозначительно подмигнул своим приятелям.

– Я тоже ничего не слышал, а спросил так просто, на всякий случай, – сказал он хитрым голосом. – Мы здесь живем в глуши, люди из долины редки у нас – вот я и спросил...

– На всякий случай? – усмехнулся Ходжа Насреддин. – Знай же, почтенный старец, спрашивающий «на всякий случай», что канибадамские маслоделы исправно платят свои подати; помимо того, сообщаю, тоже «на всякий случай», что город Ходжент стоит на прежнем месте и не провалился сквозь землю, что в окрестностях Намангана не появился изрыгающий пламя дракон. Может быть, ты желаешь узнать еще что-нибудь «на всякий случай»?

Старик понял насмешку, промолчал, сдвинув нависшие брови и спрятав за ними глаза: он боялся довериться неизвестному человеку, между тем невысказанный вопрос жег и мучил его.

Ходжа Насреддин решил помочь старику:

– Почтенный, внимательно посмотри на мое лицо, загляни поглубже в глаза – разве я похож на шпиона?

– Ты нырнул на самое дно моих помыслов, – ответил старик. – Я действительно колеблюсь между страхом и желанием задать тебе некий весьма удивительный и опасный вопрос. Но если бы ты знал наших добродетельных правителей, этих кровопийц... то есть этих светочей справедливости, хотел я сказать, – да сохранит аллах на радость нам их благословенные годы и укрепит бразды в их неподкупных дланях!..

– Но трудись восхвалять передо мною правителей, почтенный старец: ведь я уже сказал тебе, что я не шпион.

– Твое лицо внушает мне доверие, путник, я откроюсь перед тобою. Мы хотели спросить, – старик понизил голос до шепота, остальные, все трое, придвинулись вплотную, – мы хотели спросить, не знаешь ли ты о появлении в наших местах Ходжи Насреддина?

Все, что угодно, готовился услышать Ходжа Насреддин – только не свое имя!

Он поперхнулся чаем, закашлялся.

– Да, да, Ходжа Насреддин появился! – горячим шепотом подхватил молодой пастух. – Один погонщик овечьих гуртов видел его своими глазами на большой дороге вблизи Ходжента...

– Этот погонщик жил когда-то в Бухаре и знает Ходжу Насреддина в лицо, – добавил второй пастух, смуглый высокий горец с черной бородкой и раскаленными глазами, блестящими из-под широких сердитых бровей.

– И не только погонщик, – вставил свое замечание старик. – Ходжу Насреддина видел также один караван-баши на той же кокандской большой дороге.

А Ходжа Насреддин, внимая этим речам, думал, что излишне поторопился снять свои темные очки. Его узнали; сидя в этой маленькой чайхане, он мысленно слышал нарастающий гул кокандского, андижанского и прочих долинных базаров, взволнованных его именем. «Вот уж не ко времени шум! – размышлял он. – Надо всем этим слухам и разговорам положить конец!»

– Вы ошибаетесь, добрые люди, – обратился он к собеседникам. – Караван-баши и погонщик обознались, вот и все! Мне достоверно известно, что Ходжа Насреддин пребывает сейчас далеко от здешних мест.

– Но его видел еще и некий бродячий торговец! – с жаром возразил ремесленник, худые бледные щеки которого покрылись от волнения красными пятнами.

«Еще и торговец! – воскликнул про себя Ходжа Насреддин. – Поистине, это сам шайтан подбил меня снять очки!»

– Значит, у Ходжи Насреддина есть в Фергане какой-то двойник, – сказал он. – Повторяю, настоящий, подлинный Ходжа Насреддин никак не мог появиться на здешних дорогах.

– Почему же, о путник? На чем основана твоя уверенность? – спросил старик.

Подавал голос и чайханщик от своих кумганов:

– Если неделю назад Ходжа Насреддин и вправду путешествовал где-то далеко, то почему сегодня он не может появиться у нас? – Чайханщик подошел к беседующим, заменил пустой чайник. – Для него нет расстояний; сумел же он однажды пройти от Герата до Самарканда в четыре дня!

– В том-то все и дело, что он уже больше не путешествует, – сказал Ходжа Насреддин. – Знайте, добрые люди: прежнего Ходжи Насреддина больше нет. Он обзавелся многочисленной семьей, купил дом и позабыл о прежних скитаниях. Его серый ишак день ото дня толстеет в своем стойле, да и сам Ходжа Насреддин изрядно растолстел от мирной сидячей жизни. Он поглупел, обленился и теперь никуда не выходит из дому без темных очков, опасаясь, как бы его не узнали.

– Ты хочешь сказать, что он стал еще и трусом вдобавок? – спросил дрогнувшим голосом пастух с бородкой. – Всем известно, что он никогда и ничего не боялся!

– Больше хвастался, – пренебрежительно ответил Ходжа Насреддин. – Во всех этих рассказях о нем три четверти – выдумка.

– Выдумка? – воскликнул ремесленник. – Но кто же тогда приводит в трепет неправедных вельмож, если все рассказы о Ходже Насреддине – выдумка?

Пастухи, чайханщик и старик переглядывались и перемигивались.

– Не знаю, не знаю, – сказал Ходжа Насреддин, не заметив этих зловещих переглядываний. – Мне известно даже большее, – что он сменил свое имя. Ныне его зовут Узакбай, ныне он...

Договорить не пришлось: чайханщик, крикнув, со всего размаха опустил ему на спину свой здоровенный кулак; в то же мгновение молодой пастух с непостижимым проворством принялся совать ему кулаки под ребра с обеих сторон; старик вцепился хилыми пальцами ему в бороду, крича:

– Значит, наш Ходжа Насреддин больше уж не Ходжа Насреддин, – так ты болтаешь, проклятый шпион!

– Их разослали нарочно по всем дорогам, этих шпионов, чтобы они клеветали на Ходжу Насреддина и порочили его! – вторил ремесленник, не забывая работать своим мешком, в котором было что-то жесткое, тяжелое и угловатое.

– Подождите! – вопил Ходжа Насреддин, защищая от ударов то голову, то бока. – Кого вы бьете во имя Ходжи Насреддина? Вы бьете самого...

В тревоге за целостность своих костей, он уже готов был открыться перед ними (что, впрочем, вряд ли было бы принято с доверием), но помешал чайханщик. Могучим пинком он выбросил Ходжу Насреддина с помоста на дорогу, под ноги ишаку:

– Убирайся отсюда, презренный шакал, и никогда больше не показывайся в нашем селении! Иначе, клянусь, я обломаю о твою спину все мои жерди!

Не отвечая ни слова, Ходжа Насреддин поднялся с четверенек, вскочил в седло и рысью погнал ишака по дороге, охая и кряхтя при каждом толчке. А вслед ему неслась из чайханы пятиголосая брань.

Глава шестая

Так печально закончилось его единоборство со своим собственным именем – пример, поучительный для многих. Здесь уместно вспомнить слова веселого бродяги и пьяницы Хафиза, избитого толпой на ширазском базаре за насмешливый отзыв о несравненных газелах поэта Хафиза: «О мое славное имя, раньше ты принадлежало мне, теперь я принадлежу тебе; в былое время я радовался, что ты бежишь впереди меня на многие дни пути, а ныне желал бы привязать гири к твоим ногам; я конь, а ты мой жестокий всадник с тяжелой плетью в руке! Так оборачивается для человека на этой скорбной земле даже его слава – во вред и тягость ему!...»

Не ближе чем в пяти полетах стрелы Ходжа Насреддин остановил ишака. Спешившись и присев на придорожный камень, он долго ощупывал руки, ноги, шею и голову. «Да поразит аллах трясушкой этого зловонного ремесленника! – ворчал он, растирая синяки. – Хотел бы я знать, что он таскает в своем проклятом мешке – точильные камни, утюг или сапожные колодки?»

Размышляя об этом случае, применяя к себе жалобу Хафиза, он двинулся дальше по каменистой, нагретой солнцем дороге. Все тот же цветущий джидовник источал навстречу ему пряный запах дикого меда, на камнях грелись разноцветные ящерицы – бирюзовые, сапфировые, изумрудные и просто серенькие, со скромным, но, если присмотреться, очень красивым и тонким узором на спинке, в небе звенели жаворонки и свистели шуры, вспыхивали в солнечных полосах пчелы, мерцали слюдяными крылышками стрекозы; словом, все вокруг было так же, как и час назад, будто путь Ходжи Насреддина и не прерывался и он вовсе не заезжал в одну столь негостеприимную чайхану над обрывом.

Он умел хорошо помнить, но умел, когда нужно, и забывать. К тому же боль в спине и боках затихла, за что он мог воздать благодарность своему толстому дорожному халату, смягчившему удары. Вскоре его обида совсем растаяла – он улыбнулся, потом усмехнулся и, наконец, громко расхохотался.

– Ты слышишь, мой верный ишак: меня уже бьют во имя Ходжи Насреддина; теперь не хватает только, чтобы во славу Ходжи Насреддина меня повесили!

Его шутливая речь была прервана слабым, протяжным стоном.

Ишак фыркнул, поднял уши, остановился.

Взглянув направо, Ходжа Насреддин увидел лежащего под кустом человека, с головой накрытого халатом.

– Что с тобой, человек? Почему ты лежишь здесь и стонешь так жалобно, словно твоя душа расстаётся с телом?

– Она и в самом деле расстается, – жалобным голосом, охая и стenea, ответил из-под халата лежащий. – Молю аллаха, чтобы она рассталась поскорее, ибо мои страдания ужасны, а муки невыносимы.

Пришлось Ходже Насреддину спешиться.

– И давно привязалась к тебе эта злая болезнь? – спросил он, склоняясь над больным.

– Уже пятый год сидит она во мне, – простонал больной. – Ежегодно весной, в это самое время, она, подобно лютному зверю, настигает меня и целый месяц мучает хуже самого жестокого палача. Дабы предотвратить ее свирепость, я должен заблаговременно произвести некое целительное действие; на этот раз я не смог сделать этого вовремя – и вот лежу на дороге, всеми покинутый, забытый, без помощи и сочувствия.

– Утешься! – сказал Ходжа Насреддин. – Теперь у тебя есть и помощь и сочувствие. Мы вдвоем доберемся до ближайшего селения, найдем лекаря, и с его помощью ты произведешь потребное целительное действие.

– Лекаря? Ох, для этого действия мне нужен вовсе не лекарь...

Больной приподнялся, сбросил халат с головы, открыв плоское широкое лицо, совершенно голое, без всяких признаков усов или бороды, украшенное крохотным носом и парой разноцветных глаз; один тускло синел, затянутый бельмом, зато второй, желтый и круглый, смотрел так пронзительно, что Ходже Насреддину стало даже не по себе.

– Возьми меня в селение, добрый человек! – с глубоким вздохом и стонами больной выполз из-под халата. – Возьми в селение; может быть, там, среди людей, мои страдания облегчатся.

Кое-как он поднялся в седло. Ишак, понимая, что везет больного, был осторожен на спусках и не прыгал через арыки, а переходил в брод. Ходжа Насреддин шагал рядом, искоса поглядывая па своего стонающего спутника. «Это, вероятно, редкий проходимец и мошенник – иначе откуда бы взялся такому дьявольскому желтому блеску в его единственном глазу? – размышлял он. – Но, может быть, я ошибаюсь и оскорбляю своими низкими подозрениями добродетельнейшего человека, внешность которого вовсе не соответствует его внутренней сущности?..» Была в этом больном какая-то двойственность, не позволявшая Ходже Насреддину окончательно укрепиться во мнении об его плутовстве; но, с другой стороны, как ни старался он думать о своем спутнике хорошо, желтый блеск в глубине единственного ока смущал его и направлял мысли в противоположную сторону. Дорога пошла круто на спуск. Миновали два поворота, – и Ходжа Насреддин увидел внизу желтые плоские кровли небольшого селения. По дыму, весело восходившему в ясное небо, он узнал чайхану и, памятуя недавний урок, дал себе твердое слово не вступать ни в какие беседы о себе самом, что бы ни говорили вокруг.

Но кому суждено быть в один день дважды битым, тот будет в этот день дважды бит; так именно с ним и случилось.

В чайхане он потребовал одеяло, заботливо уложил больного, затем обратился к чайханщику с вопросом о лекаре.

– Придется послать в соседнюю деревню, – сказал чайханщик, приземистый детина с круглой большой головой, низким лбом и короткой волосатой шеей, красной как у мясника. – А пока больной пусть выпьет чаю, быть может ему полегчает.

Выпив два чайника, больной склонил голову на подушку и задремал, тихо стеная в своем страдальческом полусне.

Ходжа Насреддин подсел к другим гостям и затеял с ними разговор, в надежде узнать что-нибудь о горном озере Агабека.

Нет, никто из них ничего не слышал о таком озере. Что же касается человека по имени Агабек, то не разыскивает ли путник того мельника, что в прошлом году так выгодно продал свою хромую корову, искусно скрыв от покупателя ее порок? Или, может быть, кузнеца Агабека? Или того, старший сын которого недавно женился?

– Спасибо вам, добрые люди, только мне нужен совсем другой Агабек.

Другой? Тогда не тот ли, что минувшей осенью провалился со своим навьюченным быком на ветхом мостике через ручей? Или коновал Агабек?.. Стремясь услужить Ходже Насреддину, они назвали десятка полтора Агабеков, но владельца горного озера среди них не было.

– Ничего, я найду его в другом месте, – говорил Ходжа Насреддин, несколько утомленный словоохотливостью собеседников.

– Да пребудет с тобою благоволение аллаха, – отвечали они, искренне огорченные, что не могут помочь ему в поисках.

Кто-то сзади легко тронул Ходжу Насреддина за плечо; он думал – чайханщик; обернулся и в изумлении вытаращил глаза. Перед ним, радостно ухмыляясь, стоял недавний больной, всего лишь час назад находившийся на грани перехода из бренного земного бытия

в иное состояние (Ходжа Насреддин готов был поклясться, что – в наинизшее, какое только существует для самых прожженных плутов!). Он стоял и ухмылялся, его плоская рожа сияла, круглое око светилось нестерпимым котовым огнем.

– Ты ли это, о мой страдающий спутник?

– Да, это я! – бодрым голосом ответил одноглазый. – И хочу сказать, что нам теперь нет нужды задерживаться в чайхане.

– А как же целительное действие? Мы ждем лекаря.

– Все уже сделано. Для такого действия лишний человек – только помеха; я всегда лечусь сам, без лекаря.

Не переставая дивиться его исцелению, Ходжа Насреддин рассчитался с чайханщиком и направился к ишаку. Одноглазый, опередив его, кинулся затягивать подпругу седла. «Благодарность не чужда ему», – подумал Ходжа Насреддин.

– Куда же ты думаешь теперь? – обратился он к одноглазому. – Возможно, нам по пути, я в Коканд.

– И я туда же, благодарю тебя, добрый человек! – с жаром воскликнул одноглазый и, ни секунды не медля, сел в седло; слова Ходжи Насреддина он понял по-своему, в сторону, выгодную для себя: что он и дальше будет ехать на ишаке, а его благодетель пойдет пешком.

– Садись уж лучше мне прямо на спину, – сказал Ходжа Насреддин.

Пристыженный насмешкой, одноглазый начал оправдываться, говоря, что хотел только проверить подпругу. «Он не совсем лишен стыда и совести», – отметил про себя Ходжа Насреддин.

Двинулись дальше. За селением, вдоль дороги, как бы сбегая к ней с крутого склона, тянулись сады, огороженные низенькими, в пояс, заборами дикого камня. Сюда, в предгорья, весна опаздывала, словно и ей были трудны подъемы и повороты здешних дорог: деревья здесь только еще зацветали.

Узкая каменистая дорога была совсем безлюдной, колеи – едва заметными; арбяной путь здесь кончался, дальше, к перевалу, шел только выючный. Все прохладнее, свежее становился ветер, летевший от снеговых вершин, все многоводнее мутно-ледяные арыки, все шире голубой простор вокруг. Небо синело; воздух был до того летуч и легок, что Ходже Насреддину никак не удавалось наполнить им грудь.

Одноглазый дышал тоже с трудом, но ходу не сбавлял, хотя Ходжа Насреддин, из сожаления к нему, то и дело придерживал ишака.

– Ты, верно, очень торопишься?

Одноглазый не ответил, только оглянулся через плечо на дорогу.

«А может быть, он вовсе и не плут? – продолжал свои раздумья Ходжа Насреддин, стараясь позабыть о желтом котовом огне, исходившем из единственного глаза его спутника. – Может быть, он спешит к семье или на выручку к приятелю, попавшему в беду?..»

Недолго пришлось ему заблуждаться.

Сзади послышался далекий топот коней.

Одноглазый прибавил шаг и начал оглядываться поминутно.

– Скачут, – не выдержал он.

– А пусть себе скачут, дороги хватит на всех, – беззаботно ответил Ходжа Насреддин. Через десяток шагов одноглазый сказал:

– Я что-то сильно утомился. Хорошо бы нам отдохнуть где-нибудь в стороне. За камнями, в укрытии...

– Зачем же нам сворачивать в сторону? – возразил Ходжа Насреддин. – Мы отлично можем отдохнуть и на дороге.

– Но за камнями лучше – нет ветра, – сказал одноглазый, как-то странно поеживаясь; его желтое око расширилось и потемнело.

Конский топот надвинулся вплотную; одноглазый завертелся, засуетился – и в эту минуту из-за поворота вынеслись всадники. Впереди, на незаседланной лошади, болтая босыми ногами, мчался чайханщик, за ним – гости, недавние собеседники.

– Стойте! – грозным голосом закричал чайханщик. – Стойте, проклятые воры!

Едва не сбив Ходжу Насреддина с ног, брызнув ему в лицо колючим дождем раздробленного камня из-под копыт, он пронесся вперед, круто со всего ходу осадил лошадь, поднял ее на дыбы, повернул на задних ногах и поставил поперек дороги.

Подоспели остальные, попрыгали с лошадей, окружили Ходжу Насреддина и его спутника.

– Вы!.. – сказал, задыхаясь, чайханщик. – Где мой новый медный кумган ура-тюбинской работы?

Он кинулся к ишаку, взялся обшаривать переметные сумки.

– Твой кумган? – спросил, недоумевая, Ходжа Насреддин. – Тебе самому, почтенный, лучше знать, где находятся твои вещи. Зачем ты шаришь по моим сумкам? Разве что у твоего кумгана вдруг выросли ноги и он сам прыгнул в сумку!

– Выросли ноги? – хриплым голосом завопил чайханщик, багровея лицом и шеей до накала. – Сам прыгнул в твою сумку, презренный вор!

С этими словами он, к несказанному изумлению Ходжи Насреддина, вытащил из правой сумки новенький блестящий кумган.

В ярости чайханщик подпрыгнул, ударил себя в грудь кулаком. Это послужило знаком для остальных. В следующее мгновение Ходжа Насреддин и одноглазый лежали на дороге, осыпаемые бранью, ударами и пинками. Ходже Насреддину еще раз представился случай воздать благодарность своему толстому дорожному халату.

– Он нарочно заговаривал нам зубы своими Агабеками!

– А второй воровал в это время!

– Как ловко он притворялся больным! Удары и пинки возобновились.

Наконец чайханщик и его друзья вполне насладились местью. Потные, запыхавшиеся, они покинули поле битвы, столь бесславной для Ходжи Насреддина.

Опять ударили в камень звонкие подковы, затихли в отдалении...

Ходжа Насреддин поднялся; его первые слова были обращены к ишаку:

– Теперь я понимаю, зачем ты свернул утром с большой дороги, о презренный сын гнусных деяний своего отца! Мой халат показался тебе слишком пыльным? Но помни: если только еще где-нибудь в третий раз примутся выколачивать пыль из моего халата, позабыв предварительно снять его с моих плеч, тогда горе тебе, о длинноухое вместилище навоза! Я не поленюсь и проеду сто полетов стрелы, но разыщу где-нибудь живодерню с заржавленными от крови крючьями, с кривыми зазубренными ножами, сделанными из серпов, с длинными карагачевыми палками, на которых распяливают ишачьи шкуры! Помни!..

Ишак мигал белесыми ресницами; морда у него была невинная, кроткая, будто бы все эти угрозы относились вовсе не к нему.

Одноглазый лежал ничком и не шевелился.

Ходжа Насреддин слегка тряхнул его за плечо.

Одноглазый опасливо поднял голову:

– Уехали? Я думал – отдыхают... – Отряхивая пыль с халата, он добавил: – Хорошо, что они все были босиком.

Не понимаю, что находишь ты в этом хорошего.

– Когда босиком, то бьют пятками, – пояснил одноглазый. – А пятка по силе удара несравнимо уступает носку.

– Тебе лучше знать...

– Особенно прискорбны для ребер канибадамские сапоги, – продолжал одноглазый. – Тамошние мастера для красоты подкалывают в носок жесткую подошвенную кожу; кому – красота, а кому – горе...

– Ни разу не пробовал я на своих ребрах канибадамских сапог и не собираюсь пробовать, – сказал Ходжа Насреддин. – Будет лучше, почтенный, если здесь, на этом самом месте, мы расстанемся, и – навсегда!

Он сел на ишака, тихонько щелкнул его между ушей – обычный знак трогаться.

Одноглазый вдруг залился слезами и упал на колени, загородив Ходже Насреддину путь.

– Выслушай меня! – жалобно закричал он. – Никто, ни один человек в мире, не знает обо мне правды! Молю, будь милосерден, выслушай – и тогда многое представится иначе твоим глазам!

Его волнение было неподдельным, слезы – искренними, крупная дрожь сотрясала все его тело.

– Да, я вор! – Он захлебнулся рыданием, ударил себя в грудь кулаком. – Я гнусный преступник, и сам знаю это! Но поверь, незнакомец, я сам больше всех страдаю от своей преступности. И нет в мире ни одной души, которая захотела бы меня понять!..

Все это было так неожиданно, что Ходжа Насреддин растерялся.

Частью из любопытства, частью из жалости, он согласился выслушать вора.

Глава седьмая

Они уселись на камнях; одноглазый вор начал рассказ о своей удивительной горестной жизни:

– Неудержимая страсть к воровству обнаружилась у меня в самом раннем возрасте. Еще будучи грудным младенцем, я однажды украл серебряную заколку с груди моей матери, и, когда она переворачивала весь дом в поисках этой заколки, я, еще не умеющий говорить, исподтишка ухмылялся, лежа в своей колыбели, спрятав драгоценную добычу под одеяло... Окрепнув и научившись ходить, я сделался настоящим бичом для нашего дома. Я тащил все, что попадалось под руку: деньги, ткани, муку, масло. Украденное я прятал так ловко, что ни отец, ни мать не могли разыскать пропажу; затем, уловив удобную минуту, я бежал со своей добычей к одному безносому, горбатому бродяге, который ютился на старом кладбище, среди провалившихся могил и вросших в землю надгробий. Он приветствовал меня словами: «Пусть у меня вырастет еще один горб спереди, если ты, о дитя, подобное нераспустившемуся бутону, не окончишь свою жизнь на виселице либо под ножом палача!» Мы начинали игру в кости – этот старый горбун со следами всех пороков на дряблом лице и я, четырехлетний розовый младенец с пухлыми щечками и ясным, невинным взглядом...

Вор всхлипнул, обратившись мыслями к золотому невозвратному детству, затем шумно потянул носом, вытер слезы и продолжал:

– Пяти лет от роду я был искусным игроком в кости, но хозяйство наше к тому времени заметно пошатнулось. Мать не могла видеть меня без слез, с отцом делались корчи, и он говорил: «Да будет проклята постель, на которой я зачал тебя!» Но я не внимал ни мольбам, ни упрекам и, оправившись от побоев, принимался за старое. Ко дню моего семилетия наша семья впала в бедность, близкую к нищете, зато горбун открыл на базаре собственную чайхану с игорным тайным притоном и курильней гашиша в подвале под помостом... Видя, что дома взять больше нечего, я обратил свои алчные взоры и нечестивые помыслы к соседям. Я вконец разорил колесника, что жил слева от нас, выкрыв у него со дна колодца горшок с деньгами, которые он копил в течение всей жизни; затем я в два месяца с небольшим поверг в полную нищету соседа справа, опустошив его дотла. Никакие замки и запоры не могли меня удержать: я открывал их так же легко, как простую щеколду. Терпение моего отца истощилось, он проклял меня и выгнал из дому. Я ушел, прихватив его единственный халат и последние деньги – двадцать шесть таньга. Мне было в ту пору восемь с половиной лет... Не буду утомлять твоего слуха рассказами о моих странствиях, скажу только, что я побывал и в Мадрасе, и в Герате, и в Кабуле, и даже в Багдаде. Всюду я воровал – это было моим единственным занятием, и в нем я достиг необычайной ловкости. Тогда вот и выдумал я этот гнусный способ – ложиться на дорогу, притворяясь больным, с целью обворовать человека, проявившего ко мне милосердие. Скажу не хвастаясь, что в презренном воровском ремесле вряд ли со мною может сравниться кто-либо из воров не только Ферганы, но и всего мусульманского мира!

– Подожди! – прервал его Ходжа Насреддин. – А знаменитый Багдадский вор, о котором рассказывают такие чудеса?

– Багдадский вор? – Одноглазый засмеялся. – Знай же, что я и есть тот самый Багдадский вор!

Он помолчал, наслаждаясь изумлением, отразившимся на лице Ходжи Насреддина, потом его желтое око заволочлось туманом воспоминаний.

– Большая часть рассказов о моих похождениях – досужие выдумки, но есть и правда. Мне было восемнадцать лет, когда я впервые попал в Багдад, в этот сказочный город, полный сокровищ и лопоухих дураков, владеющих ими. Я хозяйничал в лавках и сундуках баг-

дадских купцов, как в своих собственных, а напоследок забрался в сокровищницу самого калифа. Не так уж и трудно было в нее забраться, по правде говоря. Сокровищница охранялась тремя огромными неграми, каждый из которых в одиночку мог бороться с быком, и считалась поэтому недоступной для воров и грабителей. Но я знал, что один из негров глух, как старый пень, второй предан курению гашиша и вечно спит, даже на ходу, а третий наделен от природы такой невероятной трусостью, что шуршание ночной лягушки в кустах повергает его в дрожь и трепет. Я взял пустую тыкву, прорезал в ней отверстия, изображающие глаза и оскаленный рот, посадил тыкву на палку, вставил внутрь горящую свечу, облек все это белым саваном и поднял ночью из кустов навстречу трусливому негру. Он судорожно вскрикнул и упал замертво. Сонливый не проснулся, глухой не услышал; с помощью отмычек я беспрепятственно вошел в сокровищницу и вынес оттуда столько золота, сколько мог поднять. Наутро весть об ограблении калифской сокровищницы разнеслась по всему городу, а затем – по всему мусульманскому миру, и я стал знаменит.

– Рассказывают, что впоследствии Багдадский вор женился на дочери калифа, – напомнил Ходжа Насреддин.

– Чистейшая ложь! Все эти рассказы обо мне, относящиеся к различным принцессам, – вздор и выдумки. С детских лет я презирал женщин и – благодарение аллаху! – никогда не был одержим тем странным помешательством, которое называют любовью. – Последнее слово он произнес с оттенком пренебрежения, видимо немало гордясь своим целомудрием. – Помимо того, женщины, когда их обворуешь даже на самую малость, ведут себя так непристойно и поднимают такой невероятный крик, что человек моего ремесла не может испытывать к ним ничего, кроме отвращения. Ни за что в мире я не женился бы ни на какой принцессе, даже самой прекрасной!

– Подождем, пока ты не изменишь к лучшему своего мнения о китайской либо индийской принцессе, – вставил Ходжа Насреддин. – Тогда я скажу: полдела сделано, остается только уговорить принцессу.

Вор понял и оценил насмешку; его плоская шельмовская рожа с бельмом на одном глазу и с огромным синяком под другим осветилась ухмылкой:

– Можно подумать, что сам Ходжа Насреддин подсказал тебе столь тонкий и язвительный ответ.

Услышав свое имя, Ходжа Насреддин насторожился, опасливо оглянулся. Но вокруг было ясное весеннее безлюдье; скользили по бурым склонам тени облаков, плывущих на юг, висели в солнечном воздухе на мерцающих крыльях стрекозы; рядом с Ходжой Насреддином примостилась на горячем камне изумрудная ящерица и дремала, приоткрывая время от времени живые черные глазки с узеньким золотым ободочком.

– Тебе приходилось встречать Ходжу Насреддина в твоих воровских скитаниях?

– Приходилось, – ответил одноглазый. – Невежественные, малосведущие люди часто приписывают мне его дела, и наоборот. Но в действительности между нами нет и не может быть никакого сходства. В противоположность Ходже Насреддину, я провел всю жизнь в пороках, сея в мире только зло и нисколько не заботясь об усовершенствовании своего духовного существа, без чего, как известно, невозможен переход из бренного земного бытия в иное, высшее состояние. Своими гнусными делами я обрекал себя начать сызнова весь круг звездных странствий.

Ходжа Насреддин не верил ушам: одноглазый говорил словами старого дервиша из ходжентской мечети Гюхар-Шау! «Неужели и он, этот вор, причастен к тайному братству Молчащих и Постигающих?» – подумал Ходжа Насреддин, но тут же отверг эту мысль, как ни с чем не сообразную.

Догадки, одна другой невероятнее, теснились в его уме.

– Таков я, – продолжал одноглазый сокрушенным голосом. – Только круглый невежда может искать сходства между мною и Ходжой Насреддином, вся жизнь которого посвящена деятельному добру и послужит примером для многих поколений в предстоящих веках.

Последние сомнения исчезли: он повторял слова старого нищего. «Знает ли он мое имя?» – раздумывал Ходжа Насреддин, проницательно глядя в лицо вору, стараясь уловить хотя бы слабую тень притворства.

– Скажи, а где встречался ты с Ходжой Насреддином?

Подозрения не оправдывались; на этот раз совесть одноглазого была чиста: он и в самом деле не знал, кто сидит на камне перед ним.

– Я встретил его в Самарканде. С душевным прискорбием должен сознаться, что и эту единственную встречу я озаменовал гнусным делом. Однажды весной, шныряя по самаркандскому базару, я услышал шепот: «Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин!» Шептались двое ремесленников; устремив свой единственный глаз по дороге их взглядов, я увидел перед одной лавкой ничем по виду не примечательного, средних лет человека, державшего в поводу серого ишака. Этот человек покупал халат и собирался расплачиваться. Его лицо я увидел только на мгновение, мельком. «Так вот он, прославленный Ходжа Насреддин, возмутитель спокойствия, имя которого благословляют одни и проклинают другие!» – подумал я, и в мою душу закралось дьявольское искушение – обокрасть его. Нет, не ради наживы, ибо я в то время имел достаточно денег, но из одного лишь гнусного воровского честолубия. «Пусть я буду единственным в мире вором, который может похвалиться, что обокрал самого Ходжу Насреддина!» – сказал я себе и, нимало не медля, приступил к осуществлению своего замысла. Тихонько сзади я подошел к ишаку и гладкой палочкой засунул ему под хвост вывернутый наизнанку стручок красного едкого перца. Почуввав в некоторых частях своего тела невыносимое жжение, ишак начал вертеть головой и хвостом, а затем, решив, что под его задом разложили костер, заревел, вырвался из рук Ходжи Насреддина и бросился в сторону, опрокидывая на пути корзины с лепешками, абрикосами и черешнями. Ходжа Насреддин погнался за ним; возникло смятение; воспользовавшись этим, я без помехи взял халат с прилавка...

– Так это был ты, о потомок нечестивых, о сын греха и позора! – воскликнул Ходжа Насреддин с пылающими глазами. – Клянусь аллахом, никогда и никто до тебя не устраивал надо мною подобных шуток! Ты едва не свел с ума нас обоих, – я пролил десять потов, стараясь утихомирить его брыканье и вопли, прежде чем догадался заглянуть ему под хвост! Ах, если бы ты попался мне тогда под горячую руку, после этого даже канибадамские сапоги показались бы тебе мягче пуховых подушек!

Забывшись, он своим негодованием выдал себя; когда опомнился – было уже поздно: вор понял, с кем судьба столкнула его на дороге.

Трудно описать чувства одноглазого вора. Он упал перед Ходжой Насреддином на колени, схватил полу его халата и приник губами к ней, словно паломник при встрече со святым шейхом.

– Пусти! – кричал Ходжа Насреддин, дергая халат. – Вы что, сговорились обязательно сделать из меня святого? Я самый обычный человек на этой земле, сколько вам раз повторять! И не хочу быть никем иным: ни шейхом, ни дервишем, ни чудотворцем, ни звездным странником!

– Да будет благословенна во веки веков эта дорога, на которой мы встретились! – твердил одноглазый. – Помоги мне, Ходжа Насреддин, мое спасение в твоих руках!

– Пусти! – в запальчивости Ходжа Насреддин дернул халат так, что пола затрещала. – Где это записано, что я обязан спасать всех нищих и всех воров, шатающихся по белу свету? Хотел бы я знать, кто спасет меня самого от вас?

Но, видимо, судьба и в самом деле записала где-то в своих книгах, что Ходже Насреддину за сорокалетним рубежом надлежит заниматься духовным спасением заблудших; пришлось ему вновь усестя на тот же камень и дослушать до конца повесть одноглазого вора.

Глава восьмая

– Дальнейшие события моей жизни протекали стремительно, – продолжал вор. – Много я пропускаю, буду говорить только о самом главном. Я пребывал в своих губительных пороках и заблуждениях, пока не встретил одного благочестивого старца, мудрые поучения которого воцелились в мою грудь, как Сулейманова печать. Этот старец обнажил передо мною всю мерзость моих пороков и указал способ очищения, но я, глупец, не сумел им воспользоваться. Расскажу все как было, по порядку. Пять лет назад, в конце зимы, я пришел в Маргелан – город шелка. Шайтан соблазнил меня запустить руку в пояс к афганцу; на этом я попался. Афганец меня схватил, я вырвался, в погоню за мною кинулся весь базар; я метался, как перепел в сетке. Вероятно, этот день был бы в моей жизни последним, но, забежав в один переулок, я услышал слабый старческий голос: «Прячься здесь!..» У дороги сидел какой-то старый нищий. «Прячься», – повторил он. Мы обменялись халатами; я сел на его место и низко опустил голову, чтобы скрыть лицо, а нищий перешел через дорогу и сел напротив. Преследователи, ворвавшиеся в переулок, не обратили внимания на двух смиренных нищих, промчались мимо, рассыпались по дворам. Воспользовавшись этим, старик вывел меня из переулка и укрыл в своем убогом жилище.

– Остановись, – прервал Ходжа Насреддин: все уже было ему ясно. – Этот нищий задумал обратить тебя на путь добродетели, долго рассказывал о звездных странствиях нашего духа, о конечной победе добра на земле через пятьсот тысяч лет, но как только пропели полуночные петухи, он умолк и не произнес больше ни слова.

– Неужели это был ты? – Одноглазый в страхе отодвинулся от Ходжи Насреддина. – Неужели это правда, что я слышал о тебе, будто ты можешь принимать любой облик, какой захочешь?

– Продолжай свой рассказ. Почему же ты не последовал по благочестивому пути, указанному старцем?

– О горе! – воскликнул одноглазый. – Твой вопрос вонзается в мое сердце подобно отравленному шипу! Знай же, что я не остался глух к поучениям старца. Подобно жаркому пламени, его слова растопили свинец моих заблуждений. Перед тем как пропели полуночные петухи и старец умолк, я, заливаясь слезами, раскаялся. Охваченный благоговейным трепетом, я дал ему клятву исправиться, вступить на стезю добродетели, с тем чтобы никогда уж больше не покидать ее. Тогда-то и назвал старец твое имя и открыл мне великий смысл твоего земного бытия. «Посмотри на Ходжу Насреддина! – говорил он. – Вот человек, который всю свою жизнь щедро обогащает мир добром, не думая и не заботясь об этом, – просто потому, что не умеет жить иначе. Если ты сможешь уподобиться ему хотя бы в ничтожной мере – ты спасен для будущего высшего бытия в иных воплощениях». Я покинул лачугу старца на крыльях надежды, мое сердце светилось в груди. Клянусь, уже давно я вступил бы на предуказанную им тропу, если бы дьявол, этот извечный враг людей, этот коварный гаситель всех наших спасительных устремлений и благородных порывов, не поспешил подстелить мне под ноги свой мерзкий, жилистый, облезлый хвост, наступив на который я и поскользнулся!.. Сжигаемый нетерпением поскорее начать новую жизнь, я решил отправиться в Коканд, где меня знали меньше, чем в других городах. У меня было около четырех тысяч танга; в моем воображении пленительно рисовалось будущее, преисполненное одной только добродетели, без малейшей примеси греха. Я предполагал открыть в Коканде чайхану, застелить ее коврами, повесить клетки с певчими птицами и в тишине, в прохладе, под нежный плеск фонтана вести с гостями благочестивые беседы, наполняя их души светом истины, открытой мне старцем. Для себя я определил самый скромный образ жизни, а весь избыток доходов предназначил сиротам и вдовам. Соизмерив свои деньги с предстоя-

щими затратами на покупку чайханы, посуды, ковров и прочего, я убедился, что денег мне хватает на все, кроме музыкантов, которые играли бы на дутарах и тонкими голосами пели благонравные песни, содержащие в себе назидательный смысл. Недоставало мелочи, каких-нибудь трехсот-четырехсот таньга. Вот здесь-то дьявол и выкопал яму соблазна на моем пути, сведя меня по дороге в Коканд с одним искусным игроком в кости. «Сыграю в последний раз, – сказал я себе. – Этот грех мне простится, ибо я употреблю выигранные деньги на хорошее, праведное дело; если же у меня после выигрыша окажется избыток денег – я раздам его бедным». Казалось бы, человек, имеющий такие благочестивые намерения, вправе ожидать помощи свыше в игре, но случилось не так...

– Дальнейшее мне известно, – сказал Ходжа Насреддин. – Вы играли всю ночь, а к утру ты остался без гроша в кармане. Твоя чайхана, ковры, клетки с птицами, фонтаны, музыканты, благонравные беседы и назидательные песни – все уплыло в карман к счастливому игроку. Вдобавок ты отдал ему сапоги, халат, тюбетейку и даже, помнится, рубаху, оставшись в одних штанах.

– Во имя пророка! – воскликнул одноглазый. – Какое всеведение! Откуда ты знаешь даже о рубахе? Значит, верно, что по глазам любого человека ты читаешь его прошлое и будущее?

– По твоему единственному глазу я могу прочесть только прошлое; что касается будущего – оно скрыто за твоим бельмом. Продолжай.

– Что оставалось мне делать после проигрыша? Расстаться навсегда с мечтами о добродетельной жизни? От подобных мыслей мир заволакивался черным дымом передо мною. «Нет! – решил я. – Надо быть твердым в своих устремлениях к добру. Это дьявол сбивает меня, в отчаянии, что моя душа ускользает из его хищных лап. Лучше я совершу еще один, самый последний грех, но вступлю на стезю, предугазанную старцем!» С таким твердым решением я пришел в Коканд и здесь услышал новость, смутившую разум. Оказывается, в Коканде недавно воцарился новый хан, и этот город, бывший ранее цветущим садом для всех воров и мошенников, сделался теперь для них бесплодной пустыней. Новый хан завел такие жестокие порядки, что ворами не оставалось ничего иного, как только бежать из города или бросать свое ремесло. Хан с позором выгнал со службы старого начальника городской стражи, за которого в течение долгих лет не уставали молиться в мечетях все кокандские воры, и поставил нового – человека деятельного, честолюбивого и бессердечного, по имени Камильбек. Новый начальник, ища ханского благоволения, поклялся извести в городе всяческое воровство с корнем; ко времени моего прибытия в Коканд он вполне успел в этом жестоком намерении. Он наводнил город множеством искусных шпионов и свирепых стражников; нельзя было украсть ничего, даже горошины из мешка, чтобы тут же не попасться им в лапы. Пойманным отрубали кисть правой руки и на лбу каленым железом выжигали клеймо; если даже иному ловкачу и удавалось украсть какую-нибудь мелочь, то некуда было ее девать, потому что за скупку краденого полагалось такое же наказание, и все боялись. Таким образом, на моем пути к праведной жизни возникло новое препятствие – этот жестокий начальник со своими бесчеловечными порядками. Несколько дней провел я в тягостном раздумье, не зная, что делать, с чего начать. Между тем подошел уже май, близился праздник дедушки Турахона, гробница которого находится, как тебе известно, неподалеку от Коканда. И вот гнусный дьявол, в своем неутомимом стремлении овладеть моей душой, внушил мне гибельную мысль воспользоваться этим праздником, чтобы раздобыть денег, необходимых для вступления на путь благочестия...

Но покинем на короткое время одноглазого вора и Ходжу Насреддина – расскажем о весеннем празднике дедушки Турахона, так как без этого рассказа многое осталось бы непонятным в нашем дальнейшем повествовании.

По старинному преданию, Турахон, родом кокандец, остался уже в пятилетнем возрасте круглым сиротой и пошел скитаться по базару, выпрашивая милостыню. До самого дна испил он горькую чашу безысходного сиротства; такое испытание может либо ожесточить человека, превратив его сердце в камень, либо направить к возвышенной человеческой мудрости, если обиду и горечь за себя он – силой своего духа – сможет переплавить в обиду и горечь за всех. Так и случилось с Турахоном: в зрелость он вошел с душою, раскаленной гневом к жестокосердым богачам и жалостью к бедным, особенно к детям, бессильным помочь себе.

Ему было двадцать пять лет, когда он с одним караваном ушел из Коканда; вернулся же в родные края уже сорокалетним. Все это время он провел в Индии и Тибете, изучая тайны врачевания, и достиг в своем деле необычайных высот. Рассказывали, что он исцеляет прикосновением, говорили еще, что с богатых людей он неукоснительно берет за исцеление большую плату, но тут же все полученное тратит на детей бедноты.

Он ходил всегда сопровождаемый толпой ребятишек всех возрастов; когда у него бывали деньги, он подходил к лавке торговца игрушками или сладостями и покупал ее сразу всю для своих маленьких друзей. Если же денег у него не было, а на глаза попадался какой-нибудь полуголый, босой малыш, Турахон без дальних слов вел его сначала к продавцу халатов, затем к продавцам сапог, поясов, тюбетеек и всюду произносил только два слова: «Будь милосердным!» И продавцы, трепеща под взыскательным взглядом старца, – а ко взрослым он был весьма строг, – обували и одевали ребенка, не осмеливаясь даже заикнуться о деньгах, памятуя, что дедушка Турахон волен не только исцелять, но и наказывать жестокосердых болезнями.

Когда он умер, тысячи детей, заливаясь слезами, провожали старца на кладбище. Ученые мударрисы и муллы не согласились причислить Турахона к сонму праведников: он-де не соблюдал постов, нарушал-де правила и установления ислама и за всю жизнь не пожертвовал ни гроша на украшение гробниц, говоря, что живым беднякам деньги нужнее, чем мертвым шейхам. Но простой народ сам, своей властью, признал Турахона праведником; слава его распространилась далеко за пределы Коканда, по всему Востоку. А майский праздник его имени принадлежал детям.

Поверье говорило, что в канун своего праздника дедушка Турахон ходит по дворам и разносит ребятишкам, достойным его внимания, подарки, оставляя их в подвешенных для того тюбетейках. Дети начинали готовиться к торжественному дню задолго до весны. Еще дули пронизывающие ледяные ветры, еще летел с мглистого неба сухой колкий снег, еще стояли черными, безжизненными сады и звенела под арбными колесами земля, превращенная морозом в камень, – а ребятишки стайками уже собирались по утрам за стенами, заборами и в других местах, укрытых от ветра, и с посиневшими, хлюпающими носами, ежась в своих халатиках и зажимая ладонями уши, вели степенные длительные разговоры о Турахоне. Ребятишки знали с достоверностью, что он весьма разборчив, – получить от него подарок было делом очень хитрым и удавалось не всякому. Для этого за пятьдесят дней, предшествующих празднику, требовалось: во-первых, ни разу не огорчить родителей, во-вторых, ежедневно совершать какое-нибудь одно доброе дело, например – помочь слепому перейти мостик или донести какому-нибудь старику его поклажу, в-третьих, на эти пятьдесят дней нужно было отказаться от сладостей, что так соблазнительно красовались на лотках разносчиков, и накопить денег для покупки новой красивой тюбетейки (известно было, что дедушка Турахон не любит старых, засаленных тюбетеек и обычно оставляет их без внимания, делая исключение лишь для самых бедных детей).

В течение пятидесяти дней во всех семьях царили тишина и благонравие. Дети беспресловно слушались, ходили на цыпочках и разговаривали полупшепотом, боясь прогневить дедушку Турахона. Даже самые отчаянные шалуны превращались на это время в кротких

овечек; не слышно было воплей, криков, не видно драк, игр в камешки и лихих скачек в развевающихся халатиках, с гиканьем и свистом, на спинах друг у друга.

А в канун праздника повсюду начиналась великая суета и беготня – таинственные встречи, пугливый шепот, учащенное биение маленьких сердец. Дело в том, что муллы весьма неодобрительно относились к этому празднику, а в иных местах запрещали его совсем, что придавало ему в глазах юных почитателей Турахона еще большую заманчивость. Нужно было пришить к тюбетейке три ниточки: белую – знак добра, зеленую – знак весны и синюю – знак неба; затем, с наступлением ночи, тайно выйти из дому куда-нибудь в сад или виноградник и там повесить тюбетейку, стоя лицом к усыпальнице Турахона и не отрывая взгляда от созвездия Семи Алмазов. Затем следовало трижды прочесть тайные слова, обращенные к Турахону, и трижды поклониться земно, – и только совершив все это, можно было возвращаться домой и ложиться спать. Строжайше запрещалось вскакивать ночью и бегать к тюбетейкам, – вот почему эта ночь для многих маленьких нетерпеливцев была мучительна.

Зато праздничное утро искупало все! Радостный визг стоял в каждом доме. Одним дедушка Турахон оставлял в подарок шелковые халатики, другим – сапожки с красными или зелеными кисточками, третьим – игрушки и сласти; девочкам – туфли, перстеньки, платья... Вот каким он был добрым и заботливым, дедушка Турахон! И целый день в садах, в легком зеленом дыму весенней листвы, кружились пестрые детские хороводы и слышалась песенка, сложенная детьми в честь своего покровителя:

Открывает южный ветер
Вишен белые цветы,
День встает, лучист и светел,
Солнце греет с высоты.

И под ясный свист синицы,
Под весенний гром и звон,
Просыпается в гробнице
Добрый старый Турахон.

Достает он свертки шелка,
Ниток яркие пучки,
В руки он берет иголку,
Надевает он очки...

Дни весенние крылаты, —
Сна не зная от забот,
Шьет он мальчикам халаты,
Платья девочкам он шьет.

Не склоняя на подушки
Убеленную главу,
Он берется за игрушки,
За конфеты и халву...

И когда всем детям снится
В лунном свете майский сон, —
Он выходит из гробницы,
Добрый старый Турахон...

Подсмотрели мы с тобою:
Со своим большим мешком
Благоносною стопою
Ходит он из дома в дом...

За подарки, в день счастливый,
Ясный, теплый, золотой,
Мы поем ему «спасибо»
В нашей песенке простой.

Пусть же, песенке внимая,
Погружаясь снова в сон,
В этот день веселый мая
Улыбнется Турахон!..

Вернемся теперь к покинутым нами Ходже Насреддину и его одноглазому спутнику. За время нашего отсутствия ничего здесь, на дороге, не изменилось: они по-прежнему сидели на камнях, светило солнце, скользили по склонам тени облаков, висели в теплом воздухе на мерцающих крыльях стрекозы, грелись на солнцепеке ящерицы.

Одноглазый продолжал свой рассказ:

– Я внял коварным нашептываниям дьявола. В ночь, предшествующую празднику Турахона, я отправился в обход окрестных дворов, садов и виноградников. Везде я собирал тюбетейки с подарками. Несколько раз я возвращался в свое логово, находившееся в подвале заброшенной сторожевой башни, опустошал мешки и опять уходил за добычей. К рассвету я был обладателем нескольких тысяч тюбетеек, множества детских халатиков, сапожек с кисточками, платьев, туфелек, браслетов, бус и прочей мелочи. Глядя на пеструю грудку собранного мною добра, я думал: «Здесь хватит на две чайханы с музыкантами! И я могу продавать все это беспрепятственно. Кто осмелится опознать свою вещь? Ведь празднование памяти дедушки Турахона запрещено в Коканде, – кто захочет попасть из-за каких-то халатиков и тюбетеек в тюрьму?» Вот до каких мерзких и гнусных помыслов я дошел!.. Утомленный бессонной ночью, я незаметно задремал.

Пробуждение было ужасным! Все мое логово дрожало и качалось, озаряемое каким-то странным, вздрагивающим, синевато-летучим блеском. И в этом грозном блеске передо мною стоял сам праведный Турахон! Его лицо пылало гневом, глаза прожигали насквозь, голос гремел, подобно горному водопаду. «О нечестивец! – возгласил он. – О мерзостный грешник и негодяй! Ты осмелился украсть у детей их чистую радость; вместо криков восторга и ликования, столь милых моему сердцу, теперь повсюду слышен плач и льются слезы! Ты осмелился наложить черное пятно на мое беспорочное имя, – что скажут теперь обо мне дети, когда не найдут не только подарков, но и своих новых тюбетеек? Они скажут: дедушка Турахон – лжец, обманщик и вор; слышишь ли ты, о зловонное вместилище всех людских пороков и гнусностей!» Оцепенев от страха, я внимал гневной речи праведника. «Выслушай свой приговор, презренный, достойный питаться лишь мясом дохлых гиен! – загремел он. – Отныне я обрекаю тебя всегда и везде воровать, как бы ни опротивело тебе это дело. Ты почувствуешь отвращение к воровству и все-таки будешь воровать! Каждый год перед моим праздником ты будешь подвержен жесточайшим болям в животе, от которых сможешь избавляться только одним способом – воровством! Боль пройдет, но зато каким ужасным мучениям совести подвергнешься ты всякий раз по совершении кражи! Целый год воздерживаться, целый год жаждать добродетели, даже приблизиться к ней, – и все-таки в конце

года украсть, разрушив этим сразу все здание своих устремлений к добру и своих воздержаний от зла!.. И все это продолжится до тех пор, пока ты не искупишь передо мною своей вины, а каким способом должен ты искупить ее – сам догадайся!» И вслед за этими заключительными словами Турахона грянул новый громopodobный удар, покачнувший до основания мое логово. Раздался ужасный треск, на меня посыпалась глина; обезумев, с помутившимся взором, я выскочил из подвала, – и в то же мгновение башня рухнула, погребая под собою все наворованное мною добро.

– Это было пять лет назад, в начале мая, – подхватил Ходжа Насреддин. – Именно тогда сильное землетрясение, сопровождаемое небывалой грозой, разрушило в Коканде много домов. Оно отозвалось даже и в Ходженте: там рухнула старинная мечеть Гюхар-Шад, та самая, где ныне сидит один старый дервиш...

Но здесь он остановился, решив пока не говорить одноглазому о своем знакомстве с ходжентским старцем.

– Так вот, оказывается, кто был виновником этого землетрясения – ты!

– Увы, я, – подтвердил одноглазый. – Потом я узнал, что надгробный камень в усыпальнице Турахона дал в этот день трещину. Он лопнул, когда праведник, обуянный гневом, выходил из могилы, чтобы покарать меня. С тех пор я пребываю в жалком и несчастном положении. Каждый год в это время, перед праздником Турахона, меня постигают жесточайшие муки, которым ты был свидетель. Избавиться от них я не могу иначе, как только путем воровства. Теперь ты понимаешь, что разумел я под неким целительным действием, не требующим вмешательства лекаря, и понимаешь, как очутился кумган в твоей сумке.

– Теперь понимаю. А скажи, не возобновляется ли твоя болезнь, если тебя ловят и отбирают украденное?

Об этом Ходжа Насреддин осведомился неспроста – на всякий случай, в предвидении будущего.

– Нет, не возобновляется. Но когда меня ловят – всякий раз весьма жестоко бьют. Сегодня били за кумган...

– И меня заодно с тобой, – напомнил Ходжа Насреддин.

– А год назад андижанские стражники били за молитвенный коврик...

– И стражники отпустили тебя? Не посадили в подземную тюрьму?

– Разве ты не слышал сказки о глупом коте? – усмехнулся одноглазый. – У одного человека в доме завелись мыши. Чтобы избавиться от них, он подобрал где-то бездомного ободранного кота. Глупый кот за одну ночь истребил всех мышей; наутро хозяин, видя, что больше никто не будет причинять ущерба его запасам, выгнал кота на улицу из уютного дома, где были мягкие подушки, теплый очаг и блюдечко с молоком... Стражники умнее кота!

Посмеявшись над этой сказкой, Ходжа Насреддин спросил одноглазого, зачем направляется он в Коканд, какие дела ждут его там. Вор ответил, что ежегодно весной совершает паломничество к усыпальнице Турахона и проводит несколько часов у надгробья, обливаясь слезами раскаяния и умоляя о прощении. Но до сих пор все его мольбы оставались втуне: праведник неумолим.

– Что же думаешь ты делать дальше?

– Жду твоего совета.

Ходжа Насреддин задумался. Его первоначальное намерение расстаться с одноглазым поколебалось. И причиной тому был старый ходжентский нищий, как бы связавший воедино их судьбы. «Одного или двух мне спасти от возвращения в низшее состояние – разница невелика, – решил Ходжа Насреддин. – Кроме того, он узнал мое имя, поэтому безопаснее будет держать его на глазах».

– Хорошо, ты будешь со мною. Посмотрим, не удастся ли нам вдвоем совместными усилиями умиловать дедушку Турахона и смирить его праведный гнев. Но ты должен принести клятву – совершать впредь известное тебе целительное действие не иначе, как с моего позволения.

Одноглазый с готовностью принес клятву. Его благодарностям и славословиям не было конца.

Между тем солнце уже давно перешло за дневную черту, окрасило снега на вершинах в нежный палевый цвет, расстелило по горам густые лиловые тени. Ветер посвежел, стрекозы и мошки исчезли, ящерицы попрятались в камни. Ходжа Насреддин чувствовал томление в пустом желудке, кроме того, нужно было подумать и о ночлеге.

– Вперед! – сказал он, садясь на ишака. – Мы потратили здесь немало времени, а до Коканда еще далеко.

Хорошо отдохнувший ишак мотнул головой, закрутил хвостом, и они двинулись.

Глава девятая

Вблизи Коканда, в низине, где жители южной части города сеяли рис, были в те времена теплые озера, питавшиеся водами горячих подземных источников. Здесь весна начиналась на целую неделю раньше: вокруг сады еще чернели, а на озерах цвели, вокруг зацветали, а здесь уже зеленели, согретые солнцем и горячими родниками снизу.

Отсюда можно заключить, что дедушка Турахон не без умысла избрал эту низину для своей усыпальницы: здесь он мог на целую неделю раньше браться за свои разнообразные дела – портновские, сапожные, игрушечные и халвяные. Его скромная гробница была украшена только двумя черными конскими хвостами, укрепленными на шестах перед входом; вокруг теснились старые, корявые карагачи, нижние ветви которых были увешаны пестрой бахромой шелковых ленточек, принесенных сюда почитателями праведника. Обилие этих ленточек свидетельствовало, что память о нем не тускнеет в сердцах мусульман.

Перед гробницей Ходжа Насреддин спешился и благоговейно поклонился Турахону, которого искренне чтит. Одноглазый остался далеко позади; он полз по дороге на коленях, посыпая голову пылью и горестно крича: «О милосердный Турахон, прости меня во имя аллаха!» Его покаянный голос едва слышался за карагачами.

Пришел старик, хранитель гробницы, – в лохмотьях, с лицом желтым и сморщенным, как вяленая урючина, но с глазами, в которых светился скрытый огонь. Открылась резная дверь – ветхая, потемневшая, насквозь изъеденная древесными червями. Из прохладной полутьмы пахло древностью – странным запахом, проникающим в душу. Сняв сапоги, надев мягкие туфли, услужливо предложенные стариком, Ходжа Насреддин вошел в гробницу. Белые стены из грубо отесанного камня, без украшений, без росписи, поддерживали купол с двумя узкими зарешеченными окнами; полутьму просекали два тонких лезвия света, скрещиваясь на каменном надгробье, расколотом поперек. От входа к надгробью шла приподнятая над полом каменная дорожка шириною в два локтя, а по обеим сторонам ее лежал на полу серо-зеленоватый прах, скопившийся здесь веками. По обычаю, он сохранялся в неприкосновенности: великим кощунством было бы оставить на нем свой след. И такая тишина была в гробнице, что Ходжа Насреддин услышал звон собственной крови в ушах; он приблизился к надгробью, склонился над ним, поцеловал камень, под которым покоилось одно из самых добрых сердец, когда-либо бившихся на земле.

– О милосердный Турахон, неужели моему греху никогда не будет искупления? – слышались близкие вопли, и в гробницу вполз одноглазый. Голова его была серой от пыли, плоское лицо разодрано в кровь, он упал грудью на камень и затих.

Ходжа Насреддин вышел, оставив его наедине с Турахоном.

Прошел час, второй. Одноглазый не выходил из гробницы. Ходжа Насреддин терпеливо ждал, сидя на ветхом, истертом коврике в тени карагача и беседуя со стариком хранителем о дервишизме и его преимуществах перед всяким иным образом жизни.

– Ничего не иметь, ничего не желать, ни к чему не стремиться, ничего не бояться, а меньше всего – телесной смерти, – говорил старик. – Как иначе можно жить в этом скорбном мире, где ложь громоздится на ложь, где все клянутся, что хотят помочь друг другу, но помогают только умирать.

– Это не жизнь, а бесплотная тень ее, – возражал Ходжа Насреддин. – Жизнь – это битва, а не погребение себя заживо.

– Что касается внешней телесной жизни, то слова твои, путник, вполне справедливы, – отозвался старик. – Но ведь есть еще и внутренняя, духовная жизнь – единственное наше достояние, над которым не властен никто. Человек должен выбирать между пожизненным

рабством и свободой, что достижима лишь во внутренней жизни и только ценой величайшего отречения от телесных благ.

– Ты нашел ее?

– Да, нашел. С тех пор как я отказался от всего излишнего – я не лгу, не раболепствую, не пресмыкаюсь, ибо не имею ничего, что могли бы у меня отнять. Разве мою старческую телесную жизнь? Пусть возьмут; говоря по правде, я не очень ею дорожу... Вот гробница Турахона; муллы не любят его, стража преследует его почитателей, но я, как видишь, не боюсь открыто служить ему – вполне бескорыстно, из одного лишь внутреннего влечения.

– Что бескорыстно, я вижу по твоей одежде, – заметил Ходжа Насреддин, указывая на халат старика, неописуемо рваный, пестрящий заплатами, с бахромою внизу – сшитый как будто из тех ленточек, и тряпочек, что висели вокруг на деревьях.

– Я не прошу многого от жизни, – продолжал старик. – Этот рваный халат, поток воды, кусок ячменной лепешки – вот и все. А моя свобода всегда со мною, ибо она – в душе!

– Не в обиду тебе, почтенный старец, будь сказано, но ведь любой покойник еще свободнее, чем ты, ибо ему вовсе уж ничего не нужно от жизни, даже глотка воды! Но разве путь к свободе это обязательно путь к смерти?

– К смерти? Не знаю... Но к одиночеству – обязательно.

Помолчав, старик закончил со вздохом:

– Я давно одинок...

– Неправда! – отозвался Ходжа Насреддин. – В твоих речах я расслышал и боль за людей и жалость к ним. Твоя жалость будит отголосок во многих сердцах – значит, ты не одинок на земле. Живой человек одиноким не бывает никогда. Люди не одиноки, они едины; в этом – самая глубокая истина нашего совместного бытия!

– Утешительные выдумки! От холода, ветра, дождя люди защищаются стенами, от жестокой правды – различными выдумками. Защищайся, путник, защищайся, ибо правда жизни страшна!

– Защищаться? Нет, почтенный старец, – я не защищаюсь, я нападаю! Везде и всегда я нападаю, в каком бы облики ни предстало мне земное зло! И если мне суждено пасть в борьбе, никто не скажет, что я уклонялся от боя! И мое оружие перейдет в другие руки – уж я позабочусь об этом!

Горячее слово Ходжи Насреддина было прервано появлением одноглазого из гробницы. Его лицо было тихим и бледным. Пока он умывался у водоема, старик рассказал:

– Каждый год этот несчастный высаживает возле гробницы черенок розы, в надежде, что он примется и это будет знаком прощения. Но до сих пор ни один черенок не принялся. У меня выступают слезы на глазах при виде этого человека; ты правильно угадал во мне жалостливость к людям, о путник! Я освободился от корыстолюбия, тщеславия, зависти, чревоугодия, страха, но от жалости освободиться, не могу. Аллах дал мне мягкое сердце, и оно не хочет затвердеть.

Одноглазый в это время занимался своими делами: он достал из-за пазухи завернутый в сырую тряпку черенок и, взрыхлив ножом землю, воткнул его перед входом в гробницу.

– Не примется, – шепнул Ходжа Насреддин старику. – Так не сажают.

– Может быть, и примется, – ответил старик. – Я буду ухаживать за этим черенком, буду поливать его трижды в день.

Ходжа Насреддин заметил слезы, блеснувшие в уголках его старых глаз.

Все дела у гробницы были закончены. Простившись со стариком, наши путники покинули тенистую прохладу карагачевой рощи Турахона.

А Коканд встретил их горячей пылью, давкой и сутолокой у городских ворот. Начинались большие весенние базары, ворота не успевали пропускать всех прибывших. Под городской стеной с наружной стороны гудел пестрый табор с навесами из камышовых циновок,

с палатками из конских попон, с харчевнями и чайханами, в которых шла кипучая торговля. Вдоль дороги в неглубоких ямах сидели нищие, такие же сухие и желтые, как безводная земля вокруг, – они казались порожденными этой землей, словно бы вырастали из нее или, наоборот, медленно уходили в ее глубину.

А в стороне, под нестерпимый грохот барабанов, рев медных труб и резкий визг сопелок, изощрялись в своем презренном ремесле шуты, фокусники, заклинатели змей, плясуны, канатоходцы и прочие развратители мусульманских сердец. Над этим разноязычным скопищем в мутно-белесом небе стояло раскаленное солнце – плоское, тусклое, без лучей; везде была пыль и пыль, – она летела по ветру, скрипела на зубах, лезла в нос, в глаза, в уши.

Великий охотник до всяких зрелищ, Ходжа Насреддин, не теряя времени, с лепешкой в одной руке и с тюбетейкой, полной спелых черешен, в другой, отправился в обход сначала фокусников, а потом – остальных. Он задержался перед темнолицым высохшим стариком с красной чертой на переносице – знаком племени; опустив глаза долу, индус тихонько и жалобно играл на тростниковой свирели, а перед ним раскачивались две змеи – сонные, вялые, до конца покорные звуку его тростника; не отрывая губ от свирели, он уложил обеих змей, каждую отдельно, в две глубокие корзины с плотными крышками, – и только после этого дал отдых своим онемевшим губам; на смену тонкому звуку свирели какой страшный упругий шорох послышался из этих корзин, какое злое, леденящее сердце шипение, переходящее в злобный свист!.. А сверху слабо доносилась барабанная дробь: там, на страшной высоте, по тонкому канату скользил с шестом в руках маленький человек, голый до пояса, в широких красных штанах, надуваемых ветром; он приседал и выгибался, подбрасывал и ловил свой шест, исхитряясь при этом еще бить одной рукой в маленький барабан, подвешенный спереди к его поясу; внизу гудела толпа, клубилась пыль, насыщенная запахами пота, навоза и сального чада харчевен – а он один в небесном просторе был товарищем ветру, отделенный от смерти лишь тонкой и зыбкой струной своего каната.

Неподалеку белели палатки плясуний; возле крайней заметно было движение и собирався народ; Ходжа Насреддин поспешил туда.

Два дюжих дунгана с черно-смоляными косами до пояса проворно выкатили из палатки плоский барабан шириною в мельничный жернов; потом один из них, запрокинув голову, начал дуть в длинную узкую тыкву – послышался ноющий, с дребезжанием звук, подобный полету осы. Эта старинная кашгарская пляска так и называлась «Злая оса». Зудящее нытье тыквы продолжалось долго, то усиливаясь, то замирая; вдруг полог палатки раздвинулся и выбежала плясунья.

Она выбежала и остановилась, как будто испуганная видом толпы, прижала острые юные локти к бокам, развела в стороны маленькие ладони. Ей было лет семнадцать, не больше; на ее нежно-золотистом лице не было ни сурьмы, ни румян, ни белил – она не нуждалась в этом. Разноцветные шелка – синий, желтый, красный, зеленый – окутывали ее гибкое тело, светясь и блестя в косых предвечерних лучах, сливая в одну радугу свои жаркие живые краски. Метнув на толпу из-под ресниц летучий взгляд косых и узких, влажных, горячих глаз, плясунья сбросила туфли и без разбега ловко вспрыгнула на барабан. Он сердито заворчал под ее маленькими ступнями; трубач поднял выше жерло своей тыквы и побагровел от натуги; тыква заныла гнусаво, со звоном и скрипом; плясунья, изобразив испуг на лице, начала беспокойно осматриваться: где-то рядом вилась оса, грозя ужалить. Эта злая оса нападала отовсюду – с боков, снизу, сверху; плясунья отбивалась порывистыми изгибами тела и взмахами рук; все чаще, все жарче била она маленькими пятками в барабан, он отвечал тугим нарастающим рокотом, понуждая ее ко все большей горячности. Слитые воедино, они подгоняли друг друга; плясунья, увертываясь от осы, падала на колени и вскакивала опять, искала эту злую осу в складках своей одежды, а цветные шелка все разматывались и разматывались, ниспадая на барабан, и уже только чуть прикрывали ее тонкое тело.

Когда она обнажилась до пояса, злая оса залетела вдруг снизу; плясунья вскрикнула, завертелась волчком на рокочущем обезумевшем барабане, цветной вихрь поднялся вокруг нее, упал последний, розовый шелк, и она осталась перед толпой совсем обнаженная. И вдруг вся она затрепетала от головы до ног, выгнулась и запрокинула голову, тягучая судорога прошла по всему ее телу: оса все-таки ужалила ее!.. Провожаемая восхищенным и жадным ревом толпы, она убежала в палатку; и сейчас же следом за нею в палатку направился какой-то персидский купец – тучный, коротконогий, с черной бородой, круглым чревом и маслянистыми, сладко-сонными глазами навывкате.

Ночевали Ходжа Насреддин и его одноглазый спутник в какой-то захудалой чайхане, полной блох, а утром, с первыми лучами солнца, вошли в Коканд.

По мере их продвижения в глубину города все больше попадалось на пути стражников разных чинов. Стражники сновали по улицам, площадям и переулкам, торчали на каждом углу. Ворам действительно нечего было делать в Коканде.

«Но во сколько же обходится бедным кокандцам вся эта начальственная орава? – думал Ходжа Насреддин. – Никакие вору, даже за сто лет непрерывного воровства, не смогли бы нанести им таких убытков!»

Миновали старинную медресе – гнездо кокандских поборников ислама, каменный мост через бурливый мелководный Сай, и перед ними открылась главная площадь с ханским дворцом за высокими крепостными стенами.

Здесь начинался базар.

Глава десятая

В те далекие годы каждый большой город Востока имел, кроме своего имени, еще и титул. Бухара, например, именовалась пышно и громко: Бухара-и-Шериф, то есть Благородная Царственная Бухара, Самарканд носил титул Исламо-доблестного Битвопобедного и Блистательного, а Коканд, в соответствии с его местоположением в цветущей долине и легким беззаботным характером жителей, именовался Коканд-и-Лятиф, что значит Веселый Приятный Коканд.

Было время, и не такое уж давнее, когда этот титул вполне соответствовал истине: ни один город не мог сравниться с Кокандом по обилию праздников, по веселью и легкости жизни. Но в последние годы Коканд помрачнел и притих под тяжелой десницей нового хана.

Еще справляли по старой памяти праздники, еще надрывались трубачи и усердствовали барабанщики перед чайханами, еще кривлялись на базарах шуты, увеселяя легкомысленных кокандцев, по уже и праздники были не прежние и веселье – не таким кипучим. Из дворца шли мрачные слухи: новый хан, пылающий необычайным рвением к исламу, отдавал все свое время благочестивым беседам и ничего больше знать не хотел. Строились медресе, новые мечети; со всех сторон в Коканд съезжались муллы, мударрисы, улемы; для прокормления этой жадной орды требовались деньги; подати возрастали. Единственным развлечением хана были скачки: с детских лет он страстно любил коней, и даже ислам не мог заглушить в его душе эту страсть. Но во всем остальном он был вполне безупречен и не подвержен суетным соблазнам. Тропинка в саду от гарема к ханской опочивальне заглохла и поросла травой, давно уж не слыша по себе в ночные часы торопливых, мелко летучих шагов, сопровождаемых вялым сопением главного евнуха и нудным шарканьем его туфель, влачимых подошвами по земле. От своих вельмож хан требовал такого же целомудрия, от жителей – благочестия; Коканд был полон стражников и шпионов.

То и дело оглашались новые запреты с новыми угрозами; как раз на днях вышел фирман о прелюбодеяниях, по которому неверные жены подлежали наказанию плетьюми, а мужчины – лишению своего естества под ножами лекарей; много было и других фирманов, подобных этому; каждый кокандец жил словно бы посреди сплетения тысячи нитей с подвешенными к ним колокольчиками: как ни остерегайся, все равно заденешь какую-нибудь ниточку и раздастся тихий зловещий звон, чреватый многими бедами.

Но такова уж непреодолимая сила весны, что в эти дни, о которых мы повествуем, кокандцы позабыли свои невзгоды. Под яркими лучами молодого солнца на базаре царило шумное оживление. Издавна славившиеся любовью к цветам и певчим птицам, кокандцы не изменили обычаю: у каждого был воткнут под тюбетейку близ уха либо тюльпан, либо жасмин, либо другой весенний цветок. В чайханах на разные голоса заливались крылатые пленницы, и часто какой-нибудь досужий кокандец, бросив чайханщику монету, открывал клетку и под одобрителный гул собравшихся выпускал певунью на волю. Движение арб, всадников и пешеходов останавливалось: все, откинув голову, следили в сияющем небе ее свободный, полный восторга полет.

– Дедушка Тураhon ждет наших добрых дел, – сказал Ходжа Насреддин одноглазому. – Начнем, пожалуй, с птичек. Вот тебе деньги. Но помни: сам ты не должен добывать у здешних ротозеев ни одной таньга, хотя бы их кошельки смотрели на тебя умильными глазами.

– Слушаю и повинуюсь.

Одноглазый подошел к ближайшей чайхане и купил сразу всех птиц. Одна за другой, вспыхивая на солнце крылышками, они поднимались в небо.

Собралась толпа, запрудила дорогу. Слышались громкие похвалы щедрости одноглазого.

Он открывал клетку, вынимал птичку, держал несколько мгновений в руке и, насладившись ее живым теплом, пугливым трепетом маленького сердца, подбрасывал вверх. «Лети с миром!» – говорил он ей вслед. «Лечу! Спасибо тебе, добрый человек, я замолвлю за тебя словечко дедушке Турахону!» – отвечала она на своем птичьем языке и скрывалась. Одноглазый заливался тихим счастливым смехом:

– Удивительно, как я не додумался до этого раньше. Ведь у меня бывали большие деньги, я мог выпускать их тысячами. Я просто не знал, что эта детская забава может быть столь радостной для души.

– Ты многого не знал, да и сейчас еще не знаешь, – ответил Ходжа Насреддин, думая про себя: «Я не ошибся в этом человеке – он сохранил в своем сердце живой родник».

– Разойдись! Не толпись! – слышались грозные окрики, сопровождаемые барабанным боем; толпа шарахнулась, рассеялась – и Ходжа Насреддин увидел перед собою какого-то высокопоставленного вельможу верхом на рыжем текинском жеребце. Вельможу со всех сторон окружали стражники – усатые, свирепые, с толстыми красными мордами, плававшими великим хватательным рвением, с копьями, саблями, секирами и прочими устрашающими орудиями. Грудь вельможи сияла множеством больших и малых медалей, на выхоленном лице с черными закрученными усами отражалось надменное высокомерие. Жеребец, придерживаемый с обеих сторон под уздцы, играл и приплясывал, косил огненно-лиловым глазом, выгибал шею и грыз удила; чепрак на его спине сиял золотом.

– Откуда вы, презренные оборванцы? – брюзгливо оттопырив нижнюю губу и морщась, спросил вельможа.

О, если бы знал он, кто стоит сейчас перед ним в этом ветхом халате, в залатанных сапогах и засаленной тюбетейке!

– Мы сельские жители, приехавшие в Коканд на базар, – смиренно ответил Ходжа Насреддин, изобразив на лице раболепие. – Мы не содеяли ничего плохого, только выпустили несколько птичек во славу нашего великого хана и в знак почтения к тебе, о сиятельный светоч могущества.

– Разве нет других способов выразить преданность хану и почтение мне, как только выпуская на волю каких-то глупых птиц и собирая вокруг толпу? – гневно спросил вельможа, причем слова: «выпуская на волю» он произнес искривив губы, с брезгливым отвращением к их смыслу. – Давно пора запретить все эти «выпускания на волю», – он опять брезгливо искривил губы, – все эти дурацкие обычаи, позорящие мой город! У вас, как видно, завелись лишние деньги, и вместо того, чтобы с благоговением внести их в казну – вот истинный способ выразить преданность! – вы разбрасываете их по базару. Обыскать! – приказал он стражникам.

Те схватили Ходжу Насреддина и одноглазого, сорвали с них пояса, халаты, рубашки.

Торжествуя, показали своему повелителю кошелек, набитый серебром и медью. Вельможа усмехнулся, довольный своей проницательностью.

– Так я и знал! Спрячь! – приказал он старшему стражнику. – Потом вручишь мне для передачи в казну.

Стражник опустил кошелек в бездонный карман своих красных широких штанов, и грозное шествие под раскатистую барабанную дробь двинулось дальше: впереди – вельможа на коне, за ним – стражники в красных штанах и сапогах с отворотами, сзади всех – барабанщик в таких же красных штанах, но босиком, так как ему по чину казенной обуви не полагалось. И всюду, где они проходили, затихал веселый базарный шум, пустели чайханы и умолкали птицы, испуганные барабаном; жизнь останавливалась, замирала под стеклянным напряженным взглядом вельможи, – оставались только одни его фирманы с угрозами и запретами. Но стоило ему пройти, и жизнь за его спиной снова начинала играть всеми своими красками, звучать всеми звуками, неумная, вечно юная, не желающая признавать

никаких запретов и смеюшаяся над ними. Он проходил сквозь жизнь как некое враждебное ей, чужеродное тело; он мог на время нарушить ее течение, но был бессилён подчинить ее себе и закрепиться в ней: каждым весенним цветком, каждым звуком Великая Живая Жизнь отвергала его!

Глядя вслед удалявшимся, Ходжа Насреддин сказал:

– Начальство земное разделяется на три вида: младшее, среднее и старшее – по степени причиняемого им вреда. Мы остались без единого гроша в кармане – это еще хорошо: могли остаться и без голов – начальник был старший...

– У меня руки так и чесались выудить наш кошелек из кармана у стражника, – признался одноглазый. – Но я не имел твоего дозволения.

– Надо же хоть немного и самому соображать! – с досадой отозвался Ходжа Насреддин. – Вернуть законному владельцу его кошелек – зачем здесь какое-то особое дозволение?

– Вот он! – С этими словами одноглазый вытащил из-за пазухи кошелек. – Там у него в кармане были еще два браслета – золотые, судя по весу, но их я не тронул.

Возвращение кошелька было отпраздновано пышным пиром в ближайшей харчевне. Харчевник сбился с ног, подавая щедрым гостям то одни, то другие кушанья, приправленные афганскими горячительными снадобьями, раскалявшими язык и небо. Из харчевни перешли они в чайхану, из чайханы – к продавцу медового снега и закончили пиршество у лотка с халвой.

Затем они направились в обход базара. А кокандский базар в те годы был таков, что обойти его сразу весь не взялся бы и самый быстроногий скороход. Один только шелковый ряд тянулся на два полета стрелы, немногим уступали ему гончарный, обувной, оружейный, халатный и другие ряды; что же касается конской ярмарки и скотной площади, то они были необозримы. На всем этом пространстве из конца в конец клубилась, кипела, теснилась толпа; Ходжа Насреддин со своим спутником то и дело протискивались боком.

Невозможно описать обилие и великолепие товаров, раскинутых на прилавках, на камышовых циновках, на ковриках: все, чем мог похвалиться тогдашний Восток, – все было здесь! Кальяны от самых простых и грубых до многотысячных, стамбульской работы, отделанных золотом и самоцветами; серебряные индийские зеркала для прекрасных похитительниц наших сердец; персидские многоцветные ковры, услаждающие глаз необычайной тонкостью узора; шелка, позаимствовавшие у солнца свой блеск; бархат, мягким и глубоким переливам которого могло бы позавидовать вечернее небо; подносы, браслеты, серьги, седла, ножи...

Сапоги, халаты, тюбетейки, пояса, кувшины, амбра, мускус, розовое масло... Но здесь мы останавливаем разбег нашего пера, ибо для перечисления всех богатств кокандского базара нам понадобились бы две или даже три большие книги!

Базарный день, полный пестрых красок, звуков и запахов, пролетел быстро. Солнце садилось, края высоких облаков расплавились, горели розовым блеском. Пришли часы отдыха: люди расходились по домам, приезжие располагались в чайханах. Но барабаны, вещающие конец базара, еще не ударили, – многие лавки продолжали торговлю.

В их числе и лавка одного менялы, по имени Рахимбай, известного кокандского богача. Тучный, с двойным подбородком, отдувшимися щеками, жирным загривком, выпиравшим из-под халата, со множеством колец на пухлых коротких пальцах, он, полуопустив мясистые веки, сидел за своим прилавком, на котором ровными столбиками были разложены золотые, серебряные и медные деньги. Здесь были индийские рупии, китайские четырехугольные ченги, татарские алтыны, попавшие сюда из диких степей Золотой Орды, персидские туманы с изображением рыкающего льва, арабские динары и множество других монет, ходивших в те времена на Востоке; были здесь и монеты из далеких языческих земель: гиней, дублоны,

фартинги, носящие на себе греховные изображения франкских королей – в доспехах, с обнаженными мечами и нечестивым знаком креста на груди.

Ходжа Насреддин и одноглазый вор поравнялись с лавкой менялы как раз в то время, когда он заканчивал подсчет дневных барышей. С видом скорбного глубокомыслия, оттопырив пухлые губы, ярко красневшие в его черной бороде, он собирал свои деньги с прилавка; монеты выскальзывали из его толстых пальцев, как золотые и серебряные рыбки, и с тихим усладительным плеском падали в сумку, а презренная медь, которую сгребал он, не считая, сыпалась с глухим, тусклым стуком, подобно битому камню.

Ходжа Насреддин покосился на своего спутника, ожидая увидеть в его зрячем глазу желтый пронзительный свет. И не увидел. Вор спокойно взирал на золото, его лицо отражало совсем другие мысли.

– Сегодня перед утром мне снилось, что мой черенок принялся и выбросил бутоны, – сказал он. – Верить этому сну или нет? Неужели Турахон не простит меня, неужели через год опять возобновится моя болезнь и опять я вынужден буду прибегнуть к целительному действию?

Здесь мимоходом мы поясним, что проницательный Ходжа Насреддин уже успел изучить своего спутника и понять природу его болезни, проистекавшей от навязчивой мысли, которую одноглазый сам себе внушил. В сочинениях многомудрого Авиценны, отца врачевания, говорится, что всякое нарушение телесного здоровья сейчас же отзывается на состоянии духовного существа, и наоборот; Ходжа Насреддин пил из родников Авиценны и, применив его наставления к одноглазому вору, сумел сделать правильный вывод.

– Сон вещий, – ответил он, стараясь придать своему голосу благожелательную уверенность, в точном соответствии с назиданиями Авиценны. – Сон вещий, запомни его. Имею основания полагать, что на этот раз Турахон будет к тебе милостивее и ты получишь прощение.

Их разговор был прерван появлением какой-то женщины – вдовы, как это явствовало из синей оторочки на рукавах ее халата. Оторочка была новая, а халат сильно поношенный, – отсюда Ходжа Насреддин заключил, что после недавней смерти мужа у вдовы не осталось денег даже на покупку траурного одеяния.

– О добродетельный и великодушный купец, я пришла к тебе с мольбой о спасении моих детей, – обратилась она к меняле.

– Проходи, я не подаю милостыни, – буркнул тот, не поднимая глаз, прилипших к деньгам.

– Я прошу не милостыни, а помощи, которая будет небезвыгодна для тебя.

Меняла удостоил поднять взор.

– После кончины мужа у меня остались сохранившиеся от бывшего благополучия драгоценности, последнее мое достояние, которое берегла я на черный день. – Женщина достала из-под халата кожаный мешочек. – Этот черный день пришел: трое моих детей – все больны. – В ее голосе зазвенели слезы. – Я предлагала драгоценности нескольким купцам – никто не хочет их покупать без предварительного осмотра начальником городской стражи, как приказывает последний фирман. Но ты ведь знаешь, почтенный купец, что после осмотра у меня не будет ни денег, ни драгоценностей: начальник стражи обязательно признает их крадеными и заберет в казну.

– Хм!.. – усмехнулся меняла, почесывая пальцем в бороде. – В казну или, может быть, не в казну, но только заберет обязательно. С другой же стороны, покупка у неизвестного, случайного лица без осмотра начальником стражи весьма опасна: фирман за это обещает сто палок и тюрьму. Но из сочувствия к твоему горю... Покажи, что там у тебя?

Она протянула ему свой мешочек. Он развязал его, вытряхнул на прилавок золотой тяжелый браслет, серьги с крупными изумрудами, рубиновые бусы, золотую цепочку, что, по

старинному обычаю, муж дарил жене в знак неразрывности брачного союза, и еще несколько мелких золотых вещей.

– Что же ты хочешь за это?

– Две тысячи таньга, – робко сказала женщина. Одноглазый толкнул Ходжу Насреддина локтем:

– Она просит ровно треть настоящей цены. Это индийские рубины, я вижу отсюда.

Меняла пренебрежительно поджал пухлые губы:

– Золото с примесью, а камни самые дешевые, из Кашгара.

– Он врет! – прошептал одноглазый.

– Только из сожаления к тебе, женщина, – продолжал меняла, – я дам за это за все... ну – тысячу таньга.

Лицо одноглазого передернулось, в желтом оке вспыхнуло негодование; он ринулся было вперед, готовый вмешаться. Ходжа Насреддин остановил его.

Вдова попробовала спорить:

– Муж говорил, что за одни только рубины заплатил больше тысячи.

– Не знаю, что он там тебе говорил, но драгоценности могут быть и крадеными, помни об этом. Хорошо, двести таньга я набавлю. Тысяча двести, и больше ни гроша!

Что оставалось делать бедной вдове? Она согласилась. Меняла, небрежно сунув драгоценности в сумку, протянул женщине горсть денег.

– Разбойник! – прошептал одноглазый дрожа. – Я сам вор и всю жизнь провел с ворами, но подобных кровопийц не встречал!

Но это было еще не все; пересчитав деньги, женщина воскликнула:

– Ты ошибся, почтенный купец: здесь всего шестьсот пятьдесят!

– Убирайся! – завопил меняла, весь наливаясь кровавой краской. – Убирайся, или я сейчас же сдам тебя с твоим краденым золотом страже!

– Помогите! Он ограбил меня! Помогите, люди добрые! – кричала женщина, заливаясь слезами.

Возмущение одноглазого перешло все границы; на этот раз Ходже Насреддину вряд ли удалось бы его удержать, но за углом вдруг ударил барабан.

Вблизи лавки показался вельможа со своими стражниками. Закончив обход, шествие направлялось в дом службы.

Женщина замолчала, попятилась.

Купец, сложив руки под животом, низко поклонился вельможе.

Тот с высоты своего жеребца ответил небрежным кивком:

– Приветствую почтеннейшего Рахимбая, украшающего собою торговое сословие нашего города! Мне послышался крик возле вашей лавки.

– Да вот она! – Меняла указал на женщину. – Проявляет безнравственную распущенность, дерзко нарушает порядок, требует денег, толкует о каких-то драгоценностях...

– О драгоценностях? – оживился вельможа, и в его выпуклых стеклянных глазах мелькнул такой блеск, рядом с которым желтый глаз вора мог бы почестся невинным и кротким, принадлежащим младенцу. – А ну-ка, подведите ее ко мне, эту женщину!

Вдовы уже не было: спасая последние деньги, она поспешила скрыться в переулок.

– Вот пример: чем больше утеснений простому народу, тем вольготнее всяческим проходимцам, – сказал Ходжа Насреддин. – Искореняли воровство – развели грабеж среди бела дня, прикрытый личиной торговли. Беги вдогонку за этой вдовой, узнай, где она живет.

Одноглазый исчез; в число его особенностей входило умение исчезать с глаз и возникать перед глазами неуловимо, словно растворяясь в окружающем воздухе и вновь сгущаясь из него же.

Дабы не вводить во искушение стражников, Ходжа Насреддин укрылся за кучу камней, приготовленных для облицовки большого арыка, протекавшего здесь. Отсюда ему было видно и слышно все, что делалось в лавке.

Вельможа милостиво принял приглашение купца выпить чаю. Между ними завязалась дружеская беседа о предстоящих скачках в присутствии самого хана.

– Я не боюсь никаких соперников, кроме вас, почтенный Рахимбай, – говорил вельможа, покручивая и поглаживая усы. – Я слышал о ваших двух жеребцах, доставленных из Аравии для этих скачек. Слышал, но видеть не видел, ибо вы скрываете их от посторонних глаз более ревниво, чем даже свою супругу. Ходит слух, что они обошлись вам в сорок тысяч таньга, считая доставку морем; даже первая награда не окупит ваших расходов!

– В пятьдесят две тысячи, в пятьдесят две, – самодовольно сказал купец. – Но я не считаю расходов, когда речь идет об услаждении взоров нашего великого хана.

– Это похвально, я доложу хану о вашем усердии. Но не гневайтесь, если мои текинцы лишат вас первой награды. Об арабских конях, разумеется, ничего плохого сказать нельзя, однако лучшими в мире считаю все же текинских.

Вельможа пустился в пространные рассуждения о достоинствах различных пород коней, купец слушал и загадочно ухмылялся, перебирая пальцами по толстому животу.

Воздух наполнился благоуханиями. Пришла жена менялы – высокая, стройная, под легким покрывалом, сквозь которое угадывались румяна и белила на ее щеках, краска на ресницах, сурьма на бровях и китайская мастика на губах.

Вельможа встал, увидев ее:

– Приветствую почтеннейшую и прекраснейшую Арзи-биби, жену моего лучшего друга.

Она ответила поклоном, улыбкой. Меняла не мог удержаться, чтобы не похвастать перед вельможей своим богатством и своею щедростью: он вытащил из сумки драгоценности и тут же подарил жене, соврав при этом, что час назад заплатил за них в золотом ряду восемь тысяч таньга. Жена в самых изысканных выражениях поблагодарила за подарок; ее слова были обращены к мужу, но взгляды – к вельможе. Утопающий в самодовольстве купец ничего не заметил и все твердил о восьми тысячах таньга, заплаченных за драгоценности, о пятидесяти двух тысячах – за арабских жеребцов и еще о каких-то других тысячах. Вельможа слушал, покручивая свои черные неотразимые усы, скрывая за ними снисходительную, с оттенком презрения, усмешку – ту самую, что многие из кокандцев жаждали носить на своем лице, но с чужого срывали кинжалом, а чаще – доносами.

– С этими драгоценностями вы будете еще пленительнее, о прекрасная Арзи-биби, – сказал вельможа. – Как жаль, что наслаждаться созерцанием вашего ангельского лица в обрамлении этих драгоценностей дано только одному вашему супругу.

– Я полагаю, не будет особенным грехом, если ты, Арзи-биби, наденешь серьги, ожерелье и откроешься на минутку перед сиятельным Камильбеком, моим лучшим другом, – с готовностью подхватил купец (вот куда завело его самодовольство и глупое тщеславие!).

Она согласилась, не споря (еще бы!): надела ожерелье, подняла покрывало.

Вельможа откинулся, застонал и в изнеможении прикрыл ладонью глаза, как бы ослепленный ее красотой.

Купец от самодовольства надулся, пыхтел, сопел и слегка покряхтывал.

Ходжа Насреддин за камнями, видя все это, только покачивал головой, мысленно восклицая: «Жирный хорек, чему ты радуешься? Ты выписываешь жеребцов из Аравии, а твоя жена находит их гораздо ближе!»

Вернулся вор – возник из воздуха перед Ходжой Насреддином:

– Вдова живет неподалеку. У нее действительно трое детей, и все больны. Шестисот пятидесяти таньга ей не хватит даже на уплату долгов. Завтра она будет опять без гроша по милости этого презренного кровопийцы!

– Запомни его лавку, запомни дом вдовы, это все скоро пригодится нам, – сказал Ходжа Насреддин. – А теперь пошли!

Они удалились, оставив вельможу, хвастливого менялу и его жену со всеми их тысячами, драгоценностями, арабскими конями и постыдными тайнами. Чайхана, где они остановились, была на другом конце базара, они шли долго, минуя опустевшие ряды, пересекая затихшие площади. Пламенеющий закат слепил, вечерний свет широко и тихо лился на землю, и в этом золотом сиянии минареты, хмурые громады мечетей как бы утрачивали свою земную тяжесть, казались прозрачными, зыбкими, словно готовые подняться в небо и расплавиться в его чистом, спокойном огне.

Глава одиннадцатая

Горное озеро!.. Ходжа Насреддин расспрашивал о нем всех подряд на базаре – земледельцев, бродячих ремесленников, шутов и фокусников. Тщетно – никто ничего не слышал о таком озере. «Куда же оно запропастилось? – думал Ходжа Насреддин. – Может быть, старик владел им еще в одном из прежних своих воплощений, где-нибудь на Юпитере или Сатурне, а теперь от старости все перепутал и посылает меня искать это озеро на Земле!»

Второе дело, касающееся умиловивления Турахона, тоже немало заботило его. «До праздника осталась всего неделя, – размышлял он. – Нужны деньги, не менее шести тысяч, где их взять?»

Пришлось обратиться за советом к одноглазому вору, – не открывая, разумеется, ему цели, для которой были нужны эти деньги.

– В прежние годы я без особого труда достал бы в Коканде шесть тысяч, – ответил вор. – Но теперь кокандцы все обнищали, у кого найдешь такой увесистый кошелек? Разве только у менялы.

– Ты опять в плену своих греховных мыслей, – с упреком сказал Ходжа Насреддин. – Почему обязательно украсть, разве нет других способов?

– Выиграть в кости?

– Можно и проиграть. Мы должны избрать какую-нибудь другую, беспроегрышную игру.

В голове Ходжи Насреддина мелькнула догадка, пока еще смутная, но таящая в себе плодотворные семена.

– Игру втроем: ты, я и этот жирный многогрешный меняла. Но как заманить его в нашу игру?

– Жирный меняла, обиратель вдов и сирот! – воскликнул одноглазый. – Заманить его в игру? Да легче заманить этот столб или вон того верблюда!

– А было бы очень хорошо получить деньги именно от него, – продолжал Ходжа Насреддин, увлеченный своей догадкой. – Добровольно, разумеется, вполне добровольно! Это было бы весьма полезным и самому меняле для перехода в иное бытие по окончании земного пути.

– Получить от этого кровопийцы добровольно шесть тысяч таньга! – захохотал одноглазый. – Да его земной путь окончится на первой же сотне! Посмотри, как он держится за свою сумку, не вырвать!

Разговор происходил в чайхане в поздний час, на рубеже полуночи. Город спал, базарные огни погасли, горели только смоляные костры на сторожевых башнях. Молодой месяц одиноко и печально склонялся над минаретами, серебра льдистым светом их изразцовые шапки. Было прохладно, тихо; днем в городе уже царил лето – зной, пыль, духота, но крылатые ночи с их мглистым сиянием, с таинственной свежестью звездного ветра еще принадлежали весне. Одноглазый вор забрался под одеяло и захрапел, а Ходжа Насреддин лежал с открытыми глазами, весь во власти голубого тумана, спустившегося на землю с неведомых высот и полного неясных видений иного, далекого мира.

Гулкие барабаны, возвестившие полночь, вернули Ходжу Насреддина к земным делам – к толстому купцу и его кожаной сумке с деньгами. Усилием воли он стряхнул сладкое оцепенение бездумья. «Ищи, мой разум, ищи! Меняла должен дать шесть тысяч таньга, и он даст, и вполне добровольно, – так мною задумано, так будет исполнено!»

А жирный меняла в это время, ничего не подозревая не испытывая никаких тревог, мирно посвистывал носом и причмокивал губами возле своей прелестной супруги. Она же не спала и, с отвращением глядя на его вздутое чрево, мягко колыхавшееся под шелковым

одеялом, вспоминала жгучий взор и неотразимые усы вельможи. В спальне было душно и чадно от наглухо запертых ставен, от светильника, осыпавшего на поднос жирные хлопья сажи. «О прекрасный Камильбек! – думала красавица, – сколь сладостны для меня ваши объятия и сколь мерзостны бессильные прикосновения этого толстого дурака!..» С такими грешными мыслями она и уснула, имея перед очами все то же неотступное видение прекрасных черных усов, уверенная, что их вельможный обладатель отвечает ей в своих ночных мечтаниях полной взаимностью.

Она ошибалась: вельможа в этот поздний час был занят совсем другими мыслями – о своем возвышении, о новых наградах, о низвержении соперников.

Он стоял в дворцовой опочивальне перед постелью повелителя и подобострастно докладывал ему события минувшего дня. Таков был заведенный ханом порядок; могут подумать, что повелителю не хватало дневного времени, – вовсе не так: он просто боялся оставаться по ночам один, так как был издавна подвержен приступам внезапного удушья. Эта болезнь мучила его жестоко и не отступала, несмотря на дружные уверения дворцовых лекарей, что она с каждым днем слабеет и скоро исчезнет совсем. Лекари не лгали хану, они только не договаривали, что исчезнет она вместе с ним...

Лежа спиной высоко на подушках, откинув тяжелое одеяло, хан трудно, с хрипом и свистом, дышал тощей грудью под шелковой тонкой рубахой. Окна опочивальни были открыты, курильницы не дымили, но ему все-таки не хватало воздуха.

– После закрытия базара, – докладывал вельможа, – убедившись, что в городе тихо, я отправился на скаковое поле, дабы самолично проверить его благоустройство к предстоящим скачкам...

– Ты осматривал самолично и в прошлом году, – прервал хан. – И все-таки один жеребец подвернул ногу. Смотри, если окажется и на этот раз какая-нибудь яма!..

– На этот раз я готов отвечать головой, – с поклоном ответил вельможа. – Надеюсь, что мои текинцы смогут достойно усладить взоры блистательного владыки.

– У твоих текинцев, я слышал, появились соперники. Один купец, не помню его имени, выписал коней из Аравии, заплатив за них, говорят, свыше пятидесяти тысяч. Ты видел этих коней?

– Видел, о повелитель, – соврал, не моргнув глазом, вельможа. – Кони, бесспорно, хороши, но до моих скакунов им далеко. Могу еще добавить, что купец сильно прихвастнул в цене: за этих арабов, как мне через моих шпионов достоверно известно, он заплатил немногим больше двадцати тысяч.

– Двадцать тысяч? Какие же это кони, за двадцать тысяч пара? Не с клячами же думает он появиться на скаковом поле перед нашими взорами!

– Купец – низкого происхождения, откуда ему знать правила высшей благопристойности, – вскользь обронил вельможа.

Очернив таким образом толстого менялу – своего соперника по скаковому полю, вельможа перешел к очернению других соперников – по дворцу. Досталось казначею, устроившему недавно с подозрительным расточительством пир для восьмидесяти гостей, досталось податному визирю, досталось мимоходом и верховному евнуху за чрезмерную приверженность к лагодийскому гашишу.

Затем вельможа помедлил, готовясь к удару по главному своему врагу. Этот удар он замыслил давно и выращивал долго, как заботливый садовник выращивает в теплице драгоценный плод. Врагом вельможи был военачальник Ядгорбек, по прозванию Неустрашимый, водитель знаменитой кокандской конницы – доблестный воин, весь в шрамах от вражеских сабель и увенчанный славою многих побед. Раболепная, трусливая низость всегда ненавидит ясное благородство высоких и смелых душ; вельможа ненавидел Ядгорбека за прямоту в речах, особенно же – за неподкупное почтение, переходящее в любовь, простого народа.

Хмурый, грузный, уже постаревший, с обвисшими сивыми усами, в простой чалме с одним-единственным золотым пером – знаком своей воинской власти, в шелковом потертом халате, лоснящемся на локтях, обутый в сапоги с помятыми от стремян носками и задниками, порыжевшими от постоянного соприкосновения с шерстью коня, сопровождаемый одним только телохранителем – дряхлым, полуслепым стариком, бессменным дядькой с юношеских лет, Ядгорбек, сутулясь в седле, медленно проезжал по базару на своем старом и тоже посеченном саблями аргамаке, и толпа затихала, расступалась, провожая воина почтительным шепотом, а его бывшие сотники, такие же седые, как и он, с честными боевыми шрамами на лицах, кричали из чайхан: «Привет тебе, Неустршимый! Когда же в поход? Не забудь о нас, мы еще сможем рубиться!...» Появляясь раз в год во дворце, старый воин был всегда молчалив и ни слова не говорил о своих подвигах, но самые рубцы на его изуродованном лице гудели и рокотали, как бы храня в себе от прошлых времен прерывистый рев медных боевых труб, свист обнаженных сабель, злобное, с привизгом ржание коней, звон щитов и слитный бой барабанов, наполняющих яростью. Легко ли было все это переживать вельможе, никогда не побывавшему ни в одной схватке, никогда не видевшему над своей головой блеска чужого клинка? Прекрасный Камильбек благоразумно всю жизнь выходил на битву не раньше, чем его противник был крепко-накрепко связан веревками и положен на землю ничком, лицом вниз, и придавлен сверху двумя стражниками: одним – сидящим на шее, и вторым – сидящим на ногах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.